

**Бениамин Бранд**

**Из прошлого**



УДК 82.312.6-93  
ББК 84-44(2Рос=Рус)  
Б 87

**Бранд Б.В.**

Б 87 Из прошлого / Перевод с идиш А. Ройзин. — М.: Издательство ИТРК, 2019. — 240 стр. + 26 с.: илл.

ISBN 978-5-88010-574-8

Бениамин Бранд — врач и журналист, родился в Польше, из которой его родители вместе с детьми бежали от нищеты и антисемитизма в Советский Союз. Как и многие представители своего поколения, Бранд стал свидетелем и участником событий, оказавших роковое влияние на судьбы советских евреев. Учёба в еврейской школе Харькова, первой столицы Советской Украины, участие в литературной еврейской жизни, встречи с еврейскими писателями и поэтами привели Бранда в журналистский техникум, окончив который, он уехал в Биробиджан.

Получив второе, медицинское образование, он не переставал писать и печататься в еврейской прессе — в газете «Биробиджанер Штерн», в журнале «Советиш Геймланд». Книга воспоминаний «Из прошлого» задумывалась автором как документ семейной истории. Но благодаря сочному языку и дару рассказчика, ярким встречам с самыми известными еврейскими писателями и поэтами, она стала историческим свидетельством, важным не только для семьи.

УДК 82.312.6-93  
ББК 84-44(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-88010-574-8

© Бениамин Бранд, наследники, 2019  
© Издательство ИТРК, издание  
и оформление, 2019

## Предисловие

Мой отец, Бениамин Вольфович Бранд родился 30 ноября 1918 года в Польше, в городе Плоцке, который при разделе Польши в 1939 году между гитлеровской Германией и Советским Союзом отошел к Германии. Это сыграло важную роль в судьбе моего отца: во время войны призывные комиссии его неизменно «браковали», как родившегося на территории врага. Когда на вопрос «место рождения» отец отвечал «Польша», на него в ярости топали ногами и кричали: «Нет такой страны! Есть Германия и СССР! Где ты родился?!» И папе приходилось отвечать «в Германии». Это было клеймо, которое закрыло ему путь в обычную армию и привело к тому, что вместо фронта папа рыл траншеи в трудармии. И хотя это, скорее всего, спасло ему жизнь, сам он очень тяжело переживал своё изгойство — молодой, здоровый и не на фронте. Он сгорал со стыда, когда, идя по улице, ловил на себе взгляды женщин, мужа и сыновья которых были на передовой.

Раннее детство папы прошло в нищей антисемитской Польше. А в 1928 году с матерью и старшим братом Абрамом он переехал в страну всеобщего «братства и справедливости» к отцу, уехавшему в СССР нелегально двумя годами раньше и писавшему восторженные письма из Харькова. Учился папа в еврейской школе, но об этом лучше читать его мемуары. Затем поступил в еврейский журналистский техникум. И окупился в необычайно

богатую еврейскую литературную жизнь того времени. Встречи со многими писателями оставили глубокий след в его душе. В 1936 году по призыву Коммунистической партии он поехал осваивать Биробиджан, где работал корреспондентом в газете «Биробиджанер Штерн». Этот период жизни довольно подробно описан в мемуарах. В 1937 году, после ареста своего отца и отказа признать его врагом народа, был исключен из комсомола и уволен из редакции с «волчьим» билетом. После долгих мытарств и самых разных работ в сельхозкоммуне папа поступил в мединститут. По окончании учебы был распределен в Молдавию, а в 1947 году призван в армию на долгих 20 лет. Десять из них он прослужил врачом-дерматологом в военном лазарете при эскадрилье на Дальнем Востоке, а затем был переведен в Камышин. И снова работа дерматологом в военном госпитале. Наконец демобилизация в звании подполковника и переезд с женой и двумя детьми на родину моей мамы — в Одессу, где он проработал до конца своих дней. Умер папа 11 января 1991 года, полный сил и планов.

Сколько себя помню, папа мечтал хоть на несколько минут вернуться в места своего «сладкого» детства, в Польшу, в Лодзь, на улицу Александровскую. Ему не разрешили. Позднее я поехала туда вместо папы и узнала, что на месте Александровской улицы было разбито гетто и ничего из описанного в его воспоминаниях не сохранилось.

Больше всего на свете папа любил своё голодное и нищее детство. Вспоминая его с чувством пронзительной печали и сожаления, он неизменно произносил: «Моё сладкое еврейское детство». Теперь я понимаю: это была тоска по тому времени, когда вся семья была единым и любящим целым, еще не тронутая жестоким ветром исторических перемен.

Читать папину рукопись тяжело и больно. В ней, как в капле воды, отразились судьбы множества людей той эпохи, еврейские

судьбы, искалеченные репрессиями, гонениями, войной и, конечно, его собственная жизнь.

Поначалу папины мемуары произвели на меня странное впечатление. Сколько помню себя, папа яростно ненавидел советскую власть, а в его рукописи явно звучит голос классового сознания, социалистического идеализма начала века. Не сразу я поняла, что папа мой поразительным образом сохранил и сумел передать видение жизни и времени таким, каким оно было для него тогда, в детстве и юности, до всех мытарств и разочарований. Сохранил он и благодарную память о множестве людей, с которыми его свела судьба, в том числе и о многих еврейских писателях, имена которых сегодня почти забыты и вспоминаются чаще всего лишь в связи с «делом писателей», ставшего для них приговором.

Но и простые люди — друзья, знакомые — в папиных мемуарах удивительно добры, порядочны, человечны. И это, конечно, в первую очередь свойства самого папы, через призму которых он видел свое окружение.

Папа писал на идиш. Блестяще зная русский, он до конца своих дней считал родным еврейский язык. Перевод рукописи на русский сделал Александр Ройзин, причем сделал так, что, читая, я слышу папину интонацию. Благодарность моя ему безмерна.

Самой большой мечтой моего папы было побывать в Израиле, в Иерусалиме, прикоснуться к Стене Плача. При его жизни это было невозможно. Но то, что рукопись эта опубликована, наконец, на идиш, — знак его запоздалого прихода к ней.

*Маргарита Анишина*

*Все люди любят прошлое:  
«Прошлое, я люблю тебя!»  
(Г. Гейне)*

## Наш комод

Есть вещи, обыкновенные домашние вещи, которые въедаются в нашу память, как хорошие друзья, на всю жизнь, и когда о них вспоминаешь, они всплывают перед глазами, как давняя красивая сказка, и ласкают своими пальцами твою затвердевшую за годы душу.

Вот такой вещью был наш комод, наш старый, древний комод, который занимал почти целую стену нашей единственной треугольной комнаты, в которой мы жили и в которой прошло мое детство.

Мы тогда жили в бедной части города — Балет ее называли — в большом четырехэтажном доме из красного кирпича, который резко выделялся между старыми низкими домами. Наше окно на четвертом этаже под самой крышей занимало одну стену нашей комнаты и смотрело залатанным взглядом в большой заросший, как в крепости, двор. У второй стены стоял ткацкий станок, за которым мой отец гнул спину с утра до самой ночи, подпевая всегда в такт станку печальные или веселые песни.

Четвертой стены у нас не было. Вот таким странным был этот дом построен, и, когда собирались ложиться спать, расставляли посреди комнаты две железные, оставшиеся после Первой мировой войны солдатские койки, которые днем складывали и вывешивали на большом крюке с другой стороны дверей.

Интерьер нашего жилища заключала железная печурка на четырех маленьких ножках с вытяжной трубой, которая зимой во

время топки накалялась докрасна. Еще были в комнате круглый столик и пара табуреток.

Теперь я хочу рассказать о нашем комод. Как я уже раньше говорил, он занимал почти целую стену и достигал самого потолка. Возможно, потому что я был маленьким, мне казалось, что комод огромен, во всяком случае, его многочисленные отделения вмещали в себя почти всю домашнюю утварь, начиная с ложек, вилок, ножей в маленьких ящичках, до одеял и подушек на огромных выдвижных полках.

Выструганные из красного дерева дверцы, собачки и фигурки людей, медные замки и углы придавали комоду облик древней, нарядной старухи со скрытой добродушной улыбкой и глубокими морщинами на лице. Да-да, таки старухи. Вот таким я однажды его увидел в лунную ночь, когда болел ветрянкой и метался в бреду... Когда я проснулся и открыл глаза, комната была залита лунным светом. На месте комода сидела старушка, подпирая своей головой, покрытой платком, потолок. Я не испугался, наоборот, мне было хорошо от ее теплой улыбки...

С тех пор комод ожил передо мной в образе улыбающейся старухи.

Возраста комода я не знаю. Судя по древним червям, которые, словно решето, пробуравили мозг красного дерева, по загнивавшему сухому запаху его костей, я думаю, что не одно поколение пережил наш комод. Я помню даже, что согласно одной легенде, которая бытовала в нашем доме, комод этот принадлежал знатному пану, у которого служили мои дедушка и бабушка.

Выстругал комод своими собственными руками прадед моей матери — Зиса его звали. Еврей-богатырь, играючи гнувший железные подковы и заставлявший вола, ухватившись за его рога, лечь на землю.

Но, кроме железной силы, у Зисы были золотые руки.

Служил он столяром у богатого польского помещика под Полицком и с его верстака сходили прекрасные кареты и мебель из

красного дерева для его хозяев. Помещик был, как рассказывают, по отношению к крестьянам лютым. Его дикие выходки рождали у людей проклятья. Его именем пугали детей в колыбели.

Но к Зисе злобный помещик относился не так, как к остальным. Он был предметом гордости помещика. Силой Зисы и столярным мастерством его хвалился помещик перед своими соседями. Эти паны с завистью разглядывали выточенные им изделия — мебель и кареты... Сколько раз богатые соседи предлагали хозяину Зисы большие суммы денег за столяра, но помещик в таких случаях тщеславно отрезал: «Все мое поместье могу продать, только не моего еврея».

Однажды, это было в первую ночь католической пасхи, в окно мастерской, где Зиса работал и спал, постучал панский слуга: пан Пясецкий немедленно требует к себе столяра. Зиса не был из пугливых, но ему это показалось немного странным: почему вдруг, посреди ночи, его поднимают с постели? Но времени для раздумий не было: раз хозяин вызывает, нечего рассуждать. Зиса сбросил с себя вышитую верхнюю рубаху, которую он одевал по субботам, обул сапоги, расчесал пальцами широкую, черную бороду, прикрывавшую его могучую грудь и делавшую его похожим на цыгана, и отправился вместе со слугой в большой дворец, по-праздничному украшенный разноцветными гирляндами. Из окон его неслись звуки музыки вместе с громкими раскатами смеха...

Как только Зиса переступил порог зала и предстал перед помещиками, музыка и шум оборвались и все присутствующие — мужчины в шикарных фраках, дамы в шелковых платьях — с любопытством стали разглядывать чернобородого богатыря, чьи широкие плечи вызывали удивление. Пан Пясецкий это заметил и с довольной улыбкой, что, мол, у него одного можно такое увидеть, подозвал к себе Зису.

— Послушай-ка, Зиса, — произнес помещик, — на втором этаже, в столовой, стоит у меня старый комод, который еще твой отец для меня сделал. Так я хочу сегодня в честь нашей пасхи сделать тебе презент — подарить тебе этот комод.



Помещик отделился от своих гостей, подошел близко к Зисе и заглянул в его глаза, как бы проверяя, какое впечатление он на него произвел...

У Зисы застучало сердце. Он очень хорошо знал, о чем идет речь. Еще совсем мальчиком он помогал своему отцу собирать стенки, дверцы и украшения этого комода. Очень редко, когда приходилось что-то делать в столовой у помещика, он всегда подходил к комоду и своими огромными ладонями гладил его — так приятно было прикоснуться к полированному дереву, в которое его отец вложил всю свою душу.

— Так что же ты молчишь, Зиса, или тебе не нравится мой презент? А? — не переставал ехидно улыбаться пан.

Зиса понимал, что это очередная проделка его барина. Наверно, он заключил пари с одним из своих гостей. Это было любимое занятие и необоримая страсть пана Пясецкого, в этом отношении он равных себе не имел.

Зиса молчал. От смущения он готов был выбежать из зала, но барин встал со своего места и панибратски хлопнул столяра по плечу:

— Я вижу Зиса, что ты мне не веришь, вот здесь есть свидетели, мои гости, вельможные паны, что я не насмехаюсь, комод твой, но... с одним условием: если ты один, без всякой помощи, вынесешь комод из моего дома и отнесешь его к себе домой, ну?

Зиса стоял смущенным недолго. В нем вдруг проснулся азарт: что же будет дальше? Эх, была не была! Он быстро поднялся по широким ступеням на второй этаж в столовую и, к удивлению подвыпивших панов, в одно мгновение вскинул на широкую спину огромный тяжелый комод и понес его из барского дома к себе домой... Вот так Зиса стал владельцем комода и от него он уже переходил по наследству из поколения в поколение.

В долгие холодные зимние вечера, когда наш большой двор затихал от громких детских голосов и в железной печурке весело трещали сухие деревянные чурки, в нашей квартире собиралась

соседская ребятня, жившая в длинном коридоре, и для нас не было лучшего места для игры, чем старый комод: мы раскрывали большие нижние дверцы, выдвигали полки над ними и вселялись в собственный великолепный дворец, где мы были так счастливы, как ни один король на свете.

Мой отец все сидел на доске у своего ткацкого станка и при дрожащем свете керосиновой лампы напевал какую-нибудь мелодию и не переставал стучать прялками. Мама, сидя на маленькой скамеечке за колесом, подпевала своим красивым голосом... Каждый в доме занят был своими делами. На нас, детей, никто не обращал внимания, и мы самозабвенно играли во дворце нашего старого комода, пока соседи силой не вытаскивали оттуда своих детей и не отводили их спать.

Еще много сказок рассказывала мне моя мама, когда я, бывало, не хотел засыпать — она была большая мастерица в этом деле. Каждый раз она импровизировала так естественно, что мне не раз во сне являлся богатырь Зиса с его цыганской бородой, огромными, как клещи, руками, и я не могу до сих пор сказать наверняка, что было в сказках правда, а что выдуманно... Но то, что наш старый комод сыграл в этих рассказах не последнюю роль, не выдуманно, я сам тому был свидетелем.

Мне было тогда около десяти лет. Я уже перестал ходить в школу. Мы ожидали, что вот-вот дадут визу, и мы поедем в Россию к отцу, который два года тому назад тайком пробрался туда через границу.

В нашей квартире перестал стучать ткацкий станок, стало как-то непривычно тихо. К нам стали по вечерам приходиться какие-то незнакомые люди. Мама читала им письма, полученные из России, разговаривала с ними очень тихо, наверное, остерегалась меня. Я догадывался, кто эти люди, одного из них, молодого поляка в очках с зеленоватыми стеклами, с лицом, помеченным оспой, я узнал! Он произносил речь на одном из собраний пионерской организации в лесу за городом, которое я с братом как-то тайно посетил. Но спросить о нем у мамы я не отважился, так как понимал, что это связано с конспирацией. И я не ошибался.

Вскоре после того, как ушел от нас молодой поляк с зеленоватыми очками, в один из длинных, осенних вечеров, мы услышали по другую сторону двери приближающиеся шаги. Потом бесцеремонно постучали, и, когда мама, испугавшись, открыла двери, вошел высокий полицейский с нашим дворником.

Полицейский строго спросил: «Где Лутбах?»

Мама пришла в себя и невинным голосом спокойно спросила: «Что за Лутбах?»

Полицейский даже не ответил. Вместо этого он начал шнырять по углам нашей комнаты, искал под кроватью и, наконец, добрался до комода, открыл большие нижние дверцы нашего дворца. Наша мама вдруг рассмеялась, нашел, мол, где искать человека... Но я почувствовал в неестественном смехе беспокойство. Мной овладел страх. Но моя мама снова овладела собой. Она смело подошла к комоду и начала быстро выдвигать большие и малые ящики: «Ищите, ищите лучше, — приговаривала она с сарказмом полицейскому, — может быть, кто-то скрывается в этих ящиках?..» Полицейский стукнул дверцами комода, сердито посмотрел на дворника, который стоял с виноватым лицом...

Когда непрошенные гости удалились, мама опустила на скамейку и, как парализованная, осталась там сидеть, и я своей детской интуицией понял, что она только что пережила...

И только позже, когда мы уже жили в России, я узнал, что в тот злосчастный вечер коммунист Лутбах, который работал с моей мамой на одной ткацкой фабрике и которого разыскивала полиция, принес пакет партийных документов, чтобы спрятать их в нашей квартире. И моя мама спрятала этот пакет в одном из ящиков в самом верхнем углу нашего старого комода.

Готовясь переехать в Россию к отцу, мама решила ликвидировать наше домашнее хозяйство, выручить немного денег за комнату, для того, чтобы иметь деньги на дорогу. Оставшиеся несколько месяцев нам предстояло жить у дедушки.

Я помню это летнее утро, когда к нашему дому на Александровской улице подъехала большая подвода, запряженная двумя лошадьми. Начали освобождать нашу треугольную комнату. Я глядел на осиротевшие стены, среди которых прошли мои детские годы, и меня охватывало беспокойство: я покидал гнездо, где каждый уголок такой близкий и родной, где мне так хорошо жилось с моими бедными родителями, с солдатскими койками, с железной печкой и коптящей керосиновой лампой, где остается лишь наш старый комод. У меня защемило сердце. Мне показалось, что он смотрит на всех с горькой улыбкой и упреком: «Что вы хотите от моих старых костей?»

Несколько соседок наших, которые помогли сносить вещи на повозку, окружили комод и шумно препирались, как лучше вытащить его наружу, но как только попробовали сдвинуть его с места, из его нутра вырвался болезненный стон, и в одно мгновение он рассыпался, как будто был из песка. Образовался густой желтый туман древесной пыли... У меня словно что-то оборвалось внутри, и я отвернулся, чтобы никто не заметил мои слезы. С гибелью нашего комода ушло мое сладкое детство...

Еще и теперь, на старости лет, приходит часто ко мне во сне наш старенький комод, украшенный фигурками, медными ручками и добродушной улыбкой.

## О моем деде

Моего деда звали Гедалья-бедняк. Так уж повелось у нас в Балете<sup>1</sup>, пригороде Лодзи, где жила еврейская беднота. Почти каждый там имел прозвище в соответствии с его профессией, внешностью, происхождением или другими особенностями.

Моего деда иначе как Гедалья-бедняк не называли. Правда, так его называли только за глаза, и хотя для деда это не было секре-

---

<sup>1</sup> Bałuty — еврейский квартал в Лодзи. — Здесь и далее примечания переводчика.

том, он притворялся, что не знает об этом... Никто не осмеливался обращаться к нему иначе, как «реб Гедаля!»

К своему прозвищу Гедаля-капцан (бедняк) мой дед так привык, что не обращал на него внимания, как будто это было его имя со дня рождения, его титул. Маму мою короновали как дочь Гедаля-капцана, а нас как внучат Гедаля-капцана.

Во времена моего детства дед не был большим бедняком, чем многие другие евреи, среди которых мы жили, но моя мать рассказывала, что много лет назад, когда она сама еще была ребенком, ее отец был бедняком среди бедняков и поэтому заслужил свое прозвище.

Дед мой стоит у меня перед глазами, как живой. Это был высокий стройный еврей, которого года и невзгоды не согнули, с широкой и длинной до пояса седой бородой, с большими серыми глазами, которые светились из-под густых бровей особой серьезностью.

Я не помню деда смеющимся и даже улыбающимся. Его продолговатое лицо, спрятанное в бороде, всегда было озабоченным и строгим. Длинный его, почти до самой земли, сюртук (традиционная верхняя одежда у евреев) свисал с широких плеч слишком свободно, скрывая его стройность. Носил дед довольно тяжелые сапоги на толстых подошвах с железными подковами, и меня удивляло, как он шагает с таким грузом на ногах. Правда, дед никогда не спешил; его шаг был спокойным, степенным. Степенность его шага подчеркивала толстая медная палка, которую я едва мог поднимать. Для чего ему нужна была палка, я не знаю. Возможно, для самоутверждения. Во всяком случае я не испытывал к ней почтения...

Жил Гедаля-капцан на Логовицкой улице в доме номер 13 в маленькой комнатке на первом этаже в старом двухэтажном доме. Единственное окно почти упиралось в высокий кирпичный забор и когда заходили с улицы в квартиру, довольно долго, пока глаза не привыкали к темноте, ничего не видели.

Здесь дедушка жил со своей второй женой Фейгеле (первая, моя бабушка, умерла во время Первой мировой войны) и со

своей дочкой, моей тетей Перл. Все убранство комнаты состояло из двух деревянных кроватей, столика у окна и железной печурки у самых дверей. В пасмурный или дождливый день жилище освещала керосиновая лампа.

Имя Фейгеле (птичка) очень шло моей неродной бабушке. Ее маленький рост, ее нежность делали ее схожей с девушкой, и ее тонкий голосочек звучал, как у птички. Детей она не имела и поэтому, видимо, так сильно любила меня и моего брата. Всегда, когда мы приходили в гости, она от радости не знала, куда нас посадить, наконец, усаживала нас и потчевала медовыми пряниками. Она придерживалась всех еврейских обычаев и праздников и была замечательной хозяйкой. Как бедно ни выглядело жилье дедушки, но в пятницу вечером, когда он должен был прийти из синагоги, пол блестел чистотой, белая скатерть на столике так и сияла... Огонек в вымытой керосиновой лампе по-праздничному мерцал, и будничный запах сырой стены сменялся запахом рыбы со свежей халой<sup>1</sup>. Трогательно было наблюдать, как Фейгеле благословляет свечи<sup>2</sup>. Дедушке она была предана и предупредила все его желания. Ее Гедалья очень мало говорил, и она часто, как рабыня, глядела на него снизу вверх, желая предугадать по выражению глаз его желания. Я не помню, чтобы дедушка когда-нибудь на нее сердился или повысил на нее голос, но мне казалось, что Фейгеле его боится. Может потому, что по моему детскому разумению, дед был таким высоким, таким сильным, а она такая малюсенькая, такая слабенькая в сравнении с ним.

На праздник Суккот дедушка сидел в шалаше — сукке — на самом почетном месте, как царь. Фейгеле бегала на своих маленьких ножках из дома в сукку<sup>3</sup> с тарелками чолнта и рыбы и прислуживала деду.

<sup>1</sup> Хала — традиционный хлеб (обычно белая плетеная булка), который принято есть в субботу и праздники.

<sup>2</sup> Зажигание субботних свечей — особая женская заповедь в иудаизме.

<sup>3</sup> Сукка — шалаш, куца, крытое зелеными ветвями временное жилище, в котором евреи обязаны провести праздник Суккот.

Народ в дворе относился с большим уважением к ребе Гедалье, хотя он ни с кем из соседей не дружил. «Меламед»<sup>1</sup> — он держался обособленно от извозчиков, грузчиков, мясников, сапожников и портных. И они, эти простые, грубые парни, несмотря на это, испытывали к нему большое почтение. Часто они приходили к Гедалье советоваться, предлагали ему выпить или решить какой-то спор... И как ребе Гедалья советовал, так и поступали.

Не раз я был свидетелем, как велика была власть моего деда во дворе. Я не помню из-за чего, но в доме, где жил мой дед, однажды загорелся горячий спор, в котором приняли участие почти все жители; шум и крики с проклятиями всех видов и степеней достигали седьмого неба... А у мясников и уличных грузчиков от подобных проклятий недалеко и до драки... Что-то творилось ужасное!.. Жители соседних домов высыпали наружу, наблюдая за этим необычным зрелищем. Для нас, малышей, это было настоящей забавой. Этот шум, эти кулаки нас очень забавляли. Я не помню, сколько это все продолжалось и чем кончилось бы, если бы не приход моего деда, который возвращался из талмуд-торы<sup>2</sup> (религиозной средней школы). Я его заметил тотчас же, когда он вошел во двор. Несколько мгновений он стоял молча у ворот с немного откинутой назад головой, и я заметил, как его седые глаза под густыми бровями налились гневом. Лицо его побледнело, и вдруг он резко поднял над головой свою тяжелую палку и прогремел своим могучим басом: «Байструки!!!» — и больше ни слова. Произошло замешательство; в одно мгновение стало тихо и... все закончилось. Дед еще постоял с поднятой палкой, как монумент, потом, не обращая никакого внимания на присутствующих, которые освободили для него проход, через двор пошел к себе домой.

К моей матери дед относился с прохладцей и, как я позже узнал, такое отношение имело причину: сам будучи очень набожным

---

<sup>1</sup> Меламед — у ашкеназских евреев учитель в хедере или талмуд-торе.

<sup>2</sup> Талмуд-тора — еврейское учебное заведение для мальчиков, обычно содержалось за счет общины или благотворителей.

евреем, воспитанным в фанатичной хасидской среде<sup>1</sup>, дедушка не мог простить моей маме то, что она в четырнадцать лет оставила дом, родителей, порвала с религией, пошла работать на ткацкую фабрику и подружилась с прогрессивной молодежью. Дедушка даже не пришел на ее свадьбу и не заходил в наш дом.

На меня и моего брата, когда мы приходили в гости в субботу или на праздники, он смотрел с сожалением: внуки Гедальи растут босяками... Он хорошо понимал, что ничего не может изменить в этом отношении, поэтому при встрече с мамой не упрекал ее, но глубоко в душе таил на нее свою обиду.

Последние месяцы перед нашим переездом к отцу в Россию, когда мама уже распродала все вещи и саму квартиру продала за некоторую сумму денег, мы перебрались к дедушке в его тесную комнатку. К этому времени Фейгеле уже не было в живых, она умерла незадолго перед тем. Дедушка во второй раз овдовел, ходил грустным. Наше переселение ему, разумеется, большого удовольствия доставить не могло. Пять человек (с ним проживала тетя Перл — больная близорукая девушка в годах) в маленькой комнатушке с сырой стеной — это уже было слишком. Кроме того, он не мог примириться с тем, что в его доме живут двое мальчиков, не воспитанных по-еврейски — два босяка.

Правда, мама, чтобы не огорчать старика, не разрешала нам ходить без тапок и даже выучила нас совершать молитву перед едой в присутствии деда. Но не трудно было понять, что это все мы делаем для него. Поэтому дедушка смотрел на все это равнодушно, нередко с горестной усмешкой на спрятанных в бороде губах...

Нам, детям, теснота и темнота мало мешали. С утра до вечера мы проводили время во дворе и на улице. Мама была занята хлопотами по приготовлению к отъезду в Россию и мало обращала на нас внимания. В школу мы уже не ходили, так что носились, как свободные птицы.

---

<sup>1</sup> Хасидизм — широко распространенное народное религиозное движение, возникшее в восточноевропейском иудаизме во второй четверти XVIII века и существующее сегодня.



В квартире мы появлялись лишь для того, чтобы поесть и поспать. Эти несколько вольных счастливых месяцев были заполнены многочисленными происшествиями в моей детской жизни, которые остались в памяти до сегодняшнего дня. Но об этом немного позже. С дедом установились, как говорят дипломаты, отношения мирного сосуществования: мама ему отдавала дань уважения, что тешило самолюбие старого человека, а мы с братом просто боялись позволить себе в его присутствии что-либо лишнее. В доме царил мир. Правда, мама, бывало, прикрикнет на нас с братом или даже всыплет нам пониже спины, когда мы что-то натворим во дворе или не слушаемся, выводим ее из себя в присутствии деда, но это все делалось больше для видимости, чтобы дед видел, что она тоже может воспитывать своих сорванцов...

Но дедушку это не убеждало. Он скептически гладил свою красивую бороду — такую привычку он имел, когда был недоволен — и рассуждал: «Оставь, Миндл, ты что, стогнешь с них мух?» Сам же он никогда нас и пальцем не тронул.

После смерти Фейгеле он чувствовал себя одиноким, как король, лишившийся своего королевства и оставленный слугами. Старик, как в воздухе, нуждался в человеке, который также по-рабски смотрел бы ему в глаза.

Ко мне, как к самому младшему, дедушка был более расположен, и он ничего не имел против того, чтобы я ему носил обед в талмуд-тору, где он с утра до вечера обучал мальчиков моего возраста. Мне было приятно, и я гордился сам перед собой, что мой дед ребе (учитель) этой ребятни, которая целый день должна высиживать в душном хедере (начальной школе) над молитвенником. В противоположность им, я был свободным независимым человеком, и своей детской интуицией я читал в глазах бедных мальчиков зависть. Но по-настоящему я мог оценить свое привилегированное положение, когда в отсутствие дедушки я начинал копаться в ящиках его стола, где лежали клады различных поделок, которые дед забирал у своих учеников во время уроков

в талмуд-горе. Чего только не было в этих ящиках: стеклышки и жестянки, перья и ножики, колесики и бутылочки из-под духов, свисточки и цепочки. Немало из этих кладов перекочевало ко мне в карман и я, как богач, хвалился перед мальчишками во дворе, которые мне завидовали и заискивали передо мной. Но однажды, во время моих поисков в ящике, дед схватил меня за руку. Я очень испугался, сердце у меня стало сильно биться, и я не знал, куда деть свои глаза. Дед пальцем своей тяжелой руки поднял мой подбородок и пронзил меня своим острым взглядом. «Что же из тебя получится?» В его голосе чувствовались боль и сожаление... Я был более чем уверен, что об этом происшествии дедушка расскажет маме и что без наказания это дело не кончится. К моему великому удивлению, никто о моей краже даже не упомянул, однако с того дня я избегал оставаться с дедом с глазу на глаз и всегда чувствовал себя перед ним виноватым...

Помолившись вместе с дедушкой, приходил иногда домой из синагоги его давний друг Мойшеле-горбун. Это был маленький человечек с красивой широкой бородой и живыми глазами, который нес свой горб, как грузчик тяжелый груз. Парочка была довольно примечательная: высокий, стройный дед и маленький горбатый человечек Мойшеле. Такой серьезный и строгий дед, который одним своим внешним видом вызывал уважение и возле него маленький горбатый человечек, который доставал деду до бороды... Но как трогательна была их дружба! Всю свою оставшуюся теплоту и деликатность дедушка вкладывал в имя «Мойшеле», когда он обращался к своему другу, а Мойшеле отвечал ему с любовью: «Гедалья — жизнь моя!» (традиционное обращение у евреев). Притом чувствовалось во всем его существе такая гордость, что именно его, такого уродя, как раз выбрал между всеми такой богатырь, как Гедалья...

В праздничные и субботние дни мой дед светился, как король. Одетый в шелковую капоту<sup>1</sup> с причесанной праздничной бородой

<sup>1</sup> Традиционный мужской костюм.

он выделялся своей красотой, своей стройностью... В такие дни мой дедушка становился как бы мягче, чем всегда. Его большие печальные глаза излучали какую-то особую торжественность. Вот так, мне казалось, выглядел пророк Моисей (Мойшэ-рабейну). В такие минуты дедушка был ко мне более расположен, забывал мои грехи, сажал к себе на колени, ущипнув меня за щеку: ну, сорванец, расскажи что-нибудь деду... Я стеснялся и не знал, что ему рассказать. Но все равно: сидеть на коленях у деда и вдыхать его чудный праздничный запах было очень приятно.

Почти каждую субботу и каждый праздник, после обеда, дедушка закрывал комнату на крючок и среди ясного дня раздавалось пение в два голоса: деда с его мягким басом и Мойшеле с его сладким тенором. Пели они канторские отрывки из молитвы и субботние песни. Это были самые счастливые минуты в жизни этих двух людей. Я помню, как однажды мне удалось через широкую щель в дверях подсмотреть их концерт. Это было исключительное зрелище. Оба еврея сидели в жилетках и тапочках друг против друга за столом, борода Мойшеле лежала на самой скатерти и оба, с полузакрытыми глазами, дирижируя руками, тянули приятный и грустный хасидский напев. Вдруг этот напев оборвался и начался у них фрейлехс. Они притопывали ногами и прихлопывали в такт руками, горб у Мойшеле ожил, как барабан на спине уличного барабанщика, и пританцовывал в такт. Эти звуки вырывались из тесной комнатки в коридор, где собирались соседи по дому, которые с удовольствием подпевали закрывшимся друзьям. Это длилось до тех пор, пока не раздавался такой звук, что, казалось, старый дом зашатался и стены рассыпаются... Мы, дети, подражали взрослым, и был такой шум, что можно было оглохнуть.

Вот приходит мне на память, как однажды мой дед взял меня с собой в синагогу. Этот погожий осенний день, который начался так празднично и торжественно, а закончился для меня совсем невесело. Несмотря на то, что я вырос в еврейской среде, в среде религиозных людей и фанатиков, я первый раз переступил порог

синагоги. Это может показаться странным, но так это и было. Мои родители еще в ранней юности порвали с религией, ушли из своего фанатичного окружения, пристали к прогрессивному рабочему движению и с годами стали противниками любой религии. В таком духе и я был воспитан и вместо грязного хедера я посещал единственную в городе еврейскую народную школу. Соседи на нашу семью смотрели косо; мы для них были неевреи (гоим) и отступники<sup>1</sup>, бегавшие по двору без головных уборов и питавшиеся свининой. Я помню как в пасхальные дни, для того чтобы не дразнить набожных соседей — хасидов, мы ели хлеб при закрытых дверях... Нередко мне доставалось за мое безверие от местных мальчишек из хедера, и я страдал от их всевозможных козней. Ежедневно, идя в школу, я проходил мимо синагоги, но вот идти туда из-за моего «ортодоксального неверия» я не отваживался, хотя мне так хотелось туда проникнуть и посмотреть изнутри почерневшее за годы мрачное здание. Так что мое первое посещение этого дома выглядело, как будто бы я сделал первый шаг на только что открытом острове.

С напряженным вниманием я оглядывал просторный зал, где собрались празднично одетые евреи, в большинстве своем ремесленники и мелкие торговцы. Здесь царило праздничное настроение; отмечали веселый праздник — Симхестойрэ<sup>2</sup>. Шум стоял необычайный. Я с удовольствием смотрел, как многие из присутствовавших встречали деда приветствием: «С праздником, ребе Гедалья!» — и уступали ему дорогу. Мойшеле-горбун тут как тут, как будто вырос из-под земли, взял деда за руку, как мальчик, и довольный пошел за ним. Дед, должно быть, тоже был доволен: впервые он «представил» посетителям синагоги своего внука... и они все принялись меня разглядывать с ног до головы, как дикаря, который только что вышел из леса. Меня это очень огорчало,

<sup>1</sup> Так называли евреев, которые отошли от религиозной жизни или перешли в другую веру — *мешумад, выкрест*.

<sup>2</sup> Симхат-Тора (радость Торы) — в этот день завершается годичный цикл чтения Торы и сразу же начинается новый цикл.

но я делал вид, что не замечаю этого, и что меня это волнует, как прошлогодний снег.

Вдруг в зале началось оживление, и толпа вдруг двинулась к ковчегу<sup>1</sup>. Дед мой также не отставал. Он исчез в толпе, и я остался один, как беспризорник. Шум нарастал. Евреи как-то нагибались, быстро что-то говорили, и я не мог понять, что же здесь происходит... Но вот появился мой дедушка со свитком Торы: «Держи крепко, Йомеле<sup>2</sup>. Не дай бог, если уронишь...» И торжественно добавил: «Это священный предмет...» Я принял от деда свиток торы в парчевом футляре, не зная, что же мне делать с этим «священным предметом». Но вскоре я заметил, что несколько подростков тоже со свитками торы ринулись на середину зала, подпевая и пританцовывая. В полной растерянности я последовал за веселой процессией, неся неизменно большой, как мне показалось, свиток торы. Вот-вот я его выпущу из моих детских рук — так тяжел был этот груз для меня... «И что тогда будет?» — я покрылся холодным потом и почувствовал, как сердце стало учащенно биться. Я уже больше ничего не видел и не слышал, что происходит вокруг меня, и все мои мысли были направлены на то, чтобы удержать «священный предмет» в руках...

Кажется, дедушка заметил мою растерянность, и, когда вместе с танцующими ребятами, сделав круг, я поравнялся с ним, он забрал у меня тору. Как благодарен был я деду, как своевременно освободил он меня от этой ноши!.. Еще мгновение и она выпала бы из моих рук на пол...

Но самое печальное в этот праздничный день еще предстояло. После танца со священными свитками нас, мальчиков, посадили вокруг длинного стола, покрытого белоснежной скатертью, где перед каждым стояли маленькие рюмочки и тарелочки с изрядным куском пряника. За столом я был самым маленьким и, не ожидая, когда мальчишки возьмутся за трапезу, я в одно мгновение проглотил вкусный пряник. Тут я только заметил, что мои

---

<sup>1</sup> Арон-кодеш — ковчег, в котором хранятся свитки Торы.

<sup>2</sup> Йоме, Йомеле — уменьшительная форма от имени Биньямин.

соседи подняли рюмочки и кричат «Лехаим!» (за здравие!)... Тогда я тоже поднял мою рюмку и выпил ее вместе со всеми.

О, горе мне! У меня захватило дыхание, я почувствовал огонь во рту, который соскочил в желудок и начал там жечь до сумасшествия...

Откуда мне знать, что это была крепкая водка, которую я до сих пор даже не нюхал... Откуда мне знать, что сначала надо выпить, а потом закусывать, так, как сделали все ребята, а не наоборот, как я.

Что мне вам сказать? Я почувствовал, что со мной случилось что-то страшное, в чем я сам себе не мог отдать отчет. Огонь в моем детском желудке запылал страшным пламенем, и мне стало так плохо, что я хотел закричать. Но как это закричать в синагоге? Деда я потерял из виду, он где-то затерялся в своей компании и я не знал что делать. Тут мне пришло в голову выбежать во двор, может, на свежем воздухе мне станет лучше. Но, увы! Наоборот, мне начало еще больше печь внутри, и я, забыв о синагоге, о дедушке, обо всем на свете, пустился бежать по улице, просто бежать, сам не зная, зачем и куда... И лишь только тогда, когда я пробежал мимо нашего дома на Александровской улице, где мы жили до того, как перебрались к деду, вбежал в ворота и подбежал к забору, который отделял двор от старого еврейского кладбища, я понял, где нахожусь. Я сам не знаю, что меня сюда привело. Как кошка, я перемахнул через забор, подбежал к ближайшей могиле, и, ухватясь за пылающий живот, лег на холодную мраморную плиту: вот я сейчас помру... Вокруг ни души. Так я пролежал на кладбище несколько часов, пока огонь в моем животе не остыл...

Дома меня встретил дедушка, совсем расстроенный; он никак не мог понять, почему я без его ведома вдруг оставил синагогу и куда я делся... Он обошел весь Балет и не знал, где меня еще искать. Но деду я, сам не знаю почему, боялся рассказать, что со мной случилось... Хорошо еще, что мамы не было в этот день — она ездила в Варшаву за визой в Россию к отцу — иначе мне бы влетело...

Но этим еще не закончился для меня тот злополучный день праздника Торы. Недаром говорят, что беда не приходит одна...

Вечером, когда пожар исчез из моего желудка, я встал как с того света. На душе стало легко и празднично и меня со свежей силой потянуло к радостям жизни. Я вспомнил, что никто еще из моих дворовых товарищей не видел мой флажок, который дедушка мне купил к празднику Торы. Недолго думая, я зажег свечку, вставил ее в красное яблоко, которое было надето на палочку флажка, и в самом лучшем настроении вышел во двор.

На дворе, однако, никого не было, и я, разочарованный, что не перед кем похвалиться, хотел уже вернуться домой, как вдруг, словно призрак, на меня набросился какой-то зверь с горящими глазами, с зубастой пастью и опрокинул меня на землю вместе с моим праздничным флажком. От страха я поднял такой крик, что все выбежали из своих квартир во двор, но подойти ко мне не осмелились: надо мной стояла овчарка, перед которой дрожал весь двор. Сам же хозяин собаки, он же хозяин нашего дома пан Пясецкий, сдерживая и глядя своего любимца, громко смеялся: «Посмотри-ка, как этот лайдак испугался!» И тут вдруг показался мой дед. Не обращая внимания на разъяренную собаку, бросил пану в лицо: «Ты собачье дерьмо!» Он продолжал надвигаться на хозяина всем своим могучим телом. Пан Пясецкий, наверно, не на шутку испугался и исчез вместе со своей собакой.

После этого случая я долго провалялся в постели, и мне казалось, что я никак не могу убежать от собаки. Мое тело лихорадило. Перед моими глазами зияла оскаленная зубастая пасть овчарки и разорванный ею праздничный флажок. Еще долго ночью я слышал, как ворочался мой дедушка и временами вырывался из его груди тяжелый стон. Вот так начался и закончился для меня тот памятный для меня праздник Симхестойрэ.

У деда мы жили полгода, но за это короткое время, мне казалось, я стал вполне взрослым; я узнал о таких вещах, о которых я раньше, при моих десяти годах даже понятия не имел.

Школу я не посещал, мы вот-вот должны были поехать к отцу в Россию, у моей мамы поэтому было полно хлопот, дедушка пропал в своей талмуд-торе, и я был как свободная птица. Я еще никогда не чувствовал себя таким счастливым. Моя мальчишеская жизнь была заполнена захватывающими событиями, я вырвался в широкий мир...

Дом в Балете на Логовницкой улице, где жил дед, с одной стороны был недалеко от базара, с другой стороны через забор он граничил со знаменитым в городе увеселительным домом. Перед входом в него днем и ночью при любой погоде стояли женщины с отвратительно накрашенными губами и с папиросами во рту и зазывали к себе проходящих мимо мужчин: «Проше пане!» При этом открывали ноги выше колен и обнажали бюст... Не проходило и дня, чтобы там не произошла драка или пьяный скандал, собиравший большую толпу любопытных и празднично шатающихся. Мы, мальчишки, также были среди них.

Больше всего меня удивлял грубый язык этих женщин из увеселительного дома, который превосходил «благородный» язык их кавалеров. Я тогда не понимал, что это за женщины и чем они занимаются. Однажды, проходя мимо этого дома вместе с мамой, я спросил у нее, что здесь происходит. Моя мама, видимо, не была готова к такому вопросу и, путаясь, ответила мне, что тут живут женщины, которые заманивают к себе мужчин, играют с ними в карты, пьянствуют с ними, а потом обворовывают их... Долгое время я это принимал за чистую монету, но мое любопытство не было удовлетворено и меня тянуло к этому злополучному дому, чтобы понаблюдать за ним поближе, невзирая на то, что он меня пугал. И вот, один раз, я помню, мне наконец-то удалось проникнуть туда и то, что я там увидел, произвело в моем детском мировоззрении настоящий переворот. Было это так.

В далекие времена моего детства очень часто по дворам города кочевали целые труппы уличных артистов. Это были скрипачи, флейтисты, кларнетисты, баянисты, каторинщики<sup>1</sup>, певцы,

---

<sup>1</sup> Шарманщики.



танцоры, акробаты, фокусники с морскими свинками и билетиками, глотатели шпак и укротители змей и даже паяцы. Посреди двора эти артисты расстилали большое покрывало и, сопровождаемые аплодисментами живого круга зрителей, демонстрировали свое искусство.

Среди этой компании было немало талантливых артистов, которые по различным причинам не нашли свое место в жизни, или, возможно, им импонировал такой вольный образ жизни. У нас, мальчишек, особый успех имел Янкл-барабанщик, который в такт тарелкам барабана, висящего на его плече, как вихрь кружился в диком танце. При этом черные локоны на его голове становились дыбом и с лица его лился пот... Мы, верные поклонники барабанщика, ходили за ним из двора во двор, чтобы еще и еще раз присутствовать на его представлении. После таких представлений артисты с виртуозной ловкостью ловили в шапки монеты, которые зрители бросали им из открытых окон.

Вот с одной из таких групп, которая гастролировала на нашей улице, мне удалось как-то пробраться во двор знаменитого дома. Возможно, из-за таинственных рассказов, которых я наслушался об этом месте, на меня напал настоящий ужас, у меня начало так сильно стучать сердце, словно я преступил закон и совершил преступление.

Двор представлял собой небольшой квадрат, в который со всех сторон выглядывали маленькие окошечки двухэтажного здания. Как только громыхнула музыка и Янкл пустился в свой дикий пляс, сразу пооткрывались закрытые окошки и показались голые тела женщин и мужчин, которые под громкий смех начали обмениваться комментариями, перемешанными такими грязными словечками, что уши у меня начали гореть... И вообще меня потрясло бесстыдство, с которым эти существа выставляли перед всеми свои обнаженные тела.

Для меня это было открытие, и когда я вырвался из этого двора на улицу, все увиденное мне показалось лишь сном... Еще много

дней и ночей меня преследовали открытые окна с белыми телами. Я не мог это уразуметь. Постепенно я начал понимать, что то, что я слышал от старших мальчиков и во что раньше не хотел верить, таки правда. К тому же я становился старше.

Нигде в Балете не царило такое оживление и шум, как на базаре «Йоны Пилдера», который находился через несколько дворов от дома моего деда. Этот базар распространял запах селедки и соленых огурцов на все улицы вокруг.

Мы, мальчишки, чувствовали себя там, как в собственном доме, и находились там часами. Мы просто так гуляли там между кричащими продавцами живностью, птицей, рыбой, зеленью, прыгали по каменным ступенькам лавок, где продавали мясо, пожирали жадными глазами переполненные кошелки с различными печеньями или с любопытством наблюдали, как морские свинки на шарманках вытаскивали билетки для искателей счастья.

Попадался иногда и заработок — три или пять грошей за выгрузку из повозки картофеля или лука. Нередко мы устраивали какую-то шалость с торговцами домашних птиц и потом долго с удовольствием смеялись. Вот так мы проводили свое время, и никто нам не мешал в наших делах. Однажды, когда я прогуливался между торговцами овощей, меня позвала одна продавщица к своим кошелкам: «Послушай-ка, мальчик, погляди-ка за моими кошелками только одну минуту, я сейчас же вернусь». Я еще не успел дать свое согласие, как торговка скрылась, и поневоле я остался наедине с кошелками с яблоками. Стою я и не знаю, что делать: роль сторожа мне не по душе, но просто так оставить свой пост мне как-то было неудобно. Прежде всего, я выбрал самое красивое яблоко, и сам себя угостил. Тут вдруг появился передо мной полицейский:

— Твои яблоки? — спросил он строго. — Где твоя мама?

Мы, еврейские мальчики, вообще дрожали перед полицией, и, ничего не соображая со страху, я промямлил:

— Д-да, вот сейчас она придет...

— А разрешение торговать у вас имеется?

Тут я догадался, что моя торговка скрылась, чтобы избежать встречи с полицейским, наверно, у нее не было этого самого разрешения на торговлю. Но я так самоуверенно ответил «Ну разумеется!», что не вызвал у полицейского сомнений.

Полицейский сердито смерил меня взглядом с головы до ног и перешел к следующей торговке; у меня как будто камень с души свалился, будто я вырвался из его рук. Во время этого разговора я не заметил, что вокруг меня собрались женщины-покупательницы, которые щупали мой «товар».

— Мальчик, сколько стоят твои яблоки? — обратилась одна из них ко мне.

Я не знаю почему, но назвал такую цену, которая пришла мне просто в голову сама, как будто мною завладел нечистый. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я начал торговать яблоками.

Пока что около меня собралось много покупателей, которые начали ссориться между собой; каждый из них хотел побыстрее купить у меня... и я взвешивал яблоки, брал деньги и работал, что называется, не покладая рук, и когда моя «яблочная мама» возвратилась, ее яблоки были распроданы, а кошелки пусты. От удивления она остановилась с открытым ртом, как будто онемела... Я уже приготовился к тому, что она мне сейчас всыплет, как следует, и я уже готов был улизнуть... но она, к моему удивлению, погладила меня по голове и со слезами в голосе сказала: «Благословен будь мой спаситель...» Я отдал ей все вырученные деньги до копейки и она, опять-таки к моему удивлению, их не пересчитала. Я помог ей нести домой тяжелые веса, после чего она меня одарила несколькими серебряными монетами. Счастливый, я вернулся на базар с моим первым заработком, где я досыта наелся душистых и аппетитных пряников с черникой.

\* \* \*

Вскоре после моей базарной эпопеи выпал на мою долю еще один заработок. Вместе с несколькими мальчиками с нашей улицы и с моим старшим братом мы нанялись к Хаиму, он занимался изготовлением бумажных пакетов: сюда мы пришли уже вроде как пролетарии, чтобы заработать «на хлеб»: за 100 пакетов — 5 грошей.

Мастерская у Хаима находилась в тесном подвале, где днем горела керосиновая лампа. Наш хозяин — маленький, худенький еврейчик с длинными пейсами, выдал нам старые-старые книги, и мы клеили из пахнущих подсолнечным маслом листов пакеты.

Каждый из нас складывал свою продукцию в стопу и время от времени наблюдал за соседями — чья гора растет быстрее. Мои товарищи были опытнее меня — не первый раз они делали здесь пакеты, и мне было досадно, что я отстаю от них. Много времени у меня занимала раскладка на отдельные листы больших книг. Во время извлечения при помощи ножа железных скрепок, скрепляющих листы, я порезал острием большой палец руки, так что кровь брызнула и залила книгу. Хозяин в гневе мне выговаривал: «Кривые руки!» Наложил на палец кусочек бумаги, перевязал мою рану тряпочкой, и я продолжал работать.

Говоря правду, первый день моей рабочей карьеры тянулся необыкновенно долго. Позвоночник ломился, запах мучного клея и сырости от книг стоял в горле, и я буквально не мог дожждаться, когда это все кончится. Наконец-то Хаим три раза стукнул по столу. Это означало, что рабочий день кончился. Прошло еще порядочно времени, пока Хаим пересчитал стопки пакетов у каждого и выплатил жалование. Я заработал целых 25 грошей — меньше всех, но все равно я был на седьмом небе с моим заработком. Я высчитал, что заработанного мной хватит на пять порций мороженого. Но долго ликовать мне не пришлось.

Как только в приподнятом настроении я выбрался из подвала, я наткнулся на одного из моих товарищей, его звали Меером,

паренька с нашей улицы. Я не мог удержаться, чтобы не похватать перед ним своим капиталом. Меер был старше меня года на 2—3. Его авторитет у нас на улице был довольно высоким из-за умения рассказывать красивые сказки и его осведомленности во всех событиях улицы, города и целого мира. Увидев у меня в руках несколько монет, Меер буквально прикипел ко мне, начал со своих новостей и закончил тем, что он теперь нуждается немножко в деньгах и не одолжил бы я ему мои 25 грошей лишь на одну неделю? Что-то защемило у меня внутри: оставаться целую неделю без денег, с таким трудом заработанных, с которыми я связывал такие светлые мечты мои. Но как отказать Мееру?

Одним словом, мои кровные перекочевали из моего кармана в карман моего товарища одним махом и навсегда...

Мой брат был старше меня на два года и, как говорится, компании со мной не водил. У него были свои товарищи, у меня свои. Он был занят своими делами, я — своими. Я ему не раз завидовал, что он, как старший брат, в каждом деле имеет больше прав и возможностей, чем я. Я стремился проникнуть в его дела, но безуспешно. В один из вечеров заявился мой старший брат домой и гордо выставил на стол пару бутылок ситро. Он меня угостил сладким ароматным напитком. На мой вопрос, откуда у него эти бутылки, он многозначительно улыбнулся, как победитель, как бы давая мне понять: пей на здоровье и не задавай лишних вопросов.

Я заметил, что руки у брата в ранах. Со мной он об этом не хотел говорить, но маме он признался перед тем, как пойти спать, что руки он ожег на синалько (ситро) фабрике<sup>1</sup>, которая находилась на Александровской улице. Выяснилось, что мой брат работает там уже несколько дней у печи, в которой варят сок для напитка. Мать на него накричала и запретила ему туда ходить. Но мной

---

<sup>1</sup> Синалько или ситро — безалкогольный газированный напиток (сокращение от латинского *sine alcohole*, «без алкоголя», от фр. *citron* — лимон, также фр. *limonade au citron*) — популярный бренд безалкогольных напитков, впервые проданных в 1902 году, продающихся теперь в более чем 40 странах. Sinalco — самый старый бренд безалкогольного напитка в Европе.

уже овладело любопытство, и я решил пробраться на фабрику и посмотреть, как там делают это синалько (ситро).

Завтра наутро, не говоря никому ни слова, я подался на фабрику. Собственно это была не фабрика. Это был скорее цех с очень примитивной установкой, где делали синалько. Хозяин предприятия — по-модному одетый еврей в черном цилиндре с огромным животом, с белой сигарой во рту допускал к себе на фабрику мальчишек с улицы не без умысла: денег он им не платил. Он отделявался лишь несколькими бутылками синалько (ситро), которое бедные ребятишки у себя дома не видели, а здесь могли им напиться досыта. Он, хозяин, вроде не замечал, как малыши работают у горячей печи, моя бутылки, и разливают в них сладкий газированный напиток. Дети хотят забавляться? Пусть себе забавляются. Меня, однако, фабрика не устраивала. Я был слишком мал, а старшие мальчишки к тому же еще просто выгоняли меня оттуда.

Разочарованный, выходя из ворот, я вдруг услышал за спиной: «Мальчик, подай мне кнут». Это был хозяин подводы, сидящий на самом вершине ее. Он развозил по городу баллоны с газированной водой и ящики с бутылками ситро. Как награду за оказанную услугу, я позволил себе сесть на скамеечку, которая висела, как крылечко, в самом конце широкой подводы. Эта скамеечка предназначалась для помощника извозчика, обязанность которого состояла в том, чтобы доставлять товар уличным продавцам воды. Я был почти уверен, что сейчас этот человек придет и прогонит с удобного места. Но этого, к моему удивлению не произошло. Наоборот, извозчик улыбнулся мне, как бы одобряя мой смелый поступок, и выехал на улицу. Я чувствовал себя на моем троне, как на седьмом небе. Мне казалось, что все прохожие смотрят на меня с завистью. Мое путешествие затянулось до самого обеда. Свой хлеб я отработал честно: усердно помогал хозяину подводы разгружать ящики с бутылками, относил лед в лавки с водой, подносил к повозке пустые бутылки и стал лучшим другом для своего шефа. Когда мы с ним попрощались, он мне

подарил бутылку синалько, которую я выпил тут же на улице, боясь принести ее домой, чтобы мама не догадалась, чем я занимался...

В подобных путешествиях по шумным улицам города прошло несколько дней. Но так как все имеет конец, так пришел конец и моему занятию. До сих пор не могу об этом спокойно вспоминать. В обед мы с хозяином вернулись на фабрику, чтобы покормить лошадь и заново нагрузить подводу ящиками и баллонами с водой. Посреди двора стоял черный автомобиль и возле него фабрикант в своем черном цилиндре с толстой сигарой во рту. Автомобиль в те времена в нашем бедном Балете был особо редким явлением, вызывавшим у нас, мальчишек, большое любопытство. Я подошел к автомобилю и оглядел ее со всех сторон. Вдруг ко мне обратился хозяин: «Послушай, пацан, тебе, кажется, хочется прокатиться на автомобиле?» Я подумал, что фабрикант хочет просто позабавиться мною. Я застеснялся и не знал, что ответить: кто мог даже в мечтах сесть в автомобиль?! Но хозяин был настроен по-серьезному: «Возьми, — сказал он, — ведро воды, вымой машину, заработаешь гривенник и сядешь за руль».

Я не хотел верить счастью, которое мне выпало, схватил ведро с водой и тряпку и усердно приступил к работе. При этом я напевал от радости. Легко сказать: сидеть в настоящем автомобиле у руля и к тому же заработать гривенник. Не прошло и получаса, как машина блестела на солнце, как зеркало. Я вытер пот с лица и скромно ждал вознаграждения. Хозяин заботливо оглядел свое блестящее авто и, не говоря ни слова, сел за руль и в одно мгновение исчез, оставив после себя ядовитый дым. Я стоял как побитый, я даже не понимал, что произошло. Но, когда я понемногу пришел в себя, у меня защемило сердце, и я почувствовал, как слезы наполнили мои глаза... Меня не так задело то, что мне не заплатили, как то, что меня так грубо обманули.

Больше я на фабрике не появлялся. Это был мой классовый протест против капитализма. Еще долго я не мог забыть обиду и всегда после этого и до сегодняшнего дня, когда приходится

слышать или читать об эксплуататорах и буржуях, перед моими глазами всплывает фигура моего фабриканта с большим животом, в черном цилиндре и с толстой сигарой во рту...

Я замечаю сам, что большинство эпизодов, которые я описываю, кончаются драматически. И это не удивительно: драматические события сильнее врезаются в память, чем другие, и оставляют после себя глубокий след... Но и комические события запоминаются хорошо, и я не могу пройти мимо некоторых из них, хотя хронологически это относится к тому времени, когда мы еще не переехали жить к дедушке, а еще жили в треугольной комнате нашего дома на четвертом этаже, что на Александровской улице.

Отец тогда уже был в России, мама работала на ткацкой фабрике у Познанского<sup>1</sup>, и я со своим старшим братом после уроков в школе гулял себе на свободе и без всякого надзора. Мы совсем не были «хорошими мальчиками», лазали во дворе по всем углам, делали пакости соседям, короче маме было с нами несладко... В один из весенних дней, было это накануне пасхи, во дворе шумели женщины; они вынесли туда большие казаны с горячей водой, в которой мыли кошерную посуду. На скамейках и кроватях проветривали постели, дети в колыбелях кричали, но на них никто не обращал внимания. Все были заняты своими делами. Шутка ли! Канун Пасхи<sup>2</sup>...

Вот в такой день мне и моему брату захотелось пускать мыльные пузыри. Мы уселись у открытого окна и через трубочки, которые остались еще с тех времен, когда папа работал в комнате на ткацком станке, пускали такие красивые шары, которые не имели себе равных; маленькие, большие, совсем большие, всех цветов радуги, в которых отражались двор, люди. Сначала пузыри, подгоняемые ветерком, поднимались вверх, потом медленно опускались и где-то внизу лопались. Вдруг до нас снизу донесся львиный рев. Это кричал Яков-мясник, который жил на первом

<sup>1</sup> Израэль Кальман Познанский — польско-еврейским бизнесмен, текстильный магнат и филантроп в Лодзи.

<sup>2</sup> Канун праздника Песах.



этаже и у которого была мясная лавка с большой вывеской «Косер» над входом.

Перед мясником во дворе все дрожали. Это был исключительно грубый еврей с воловьими глазами, в огромных сапогах, которые вечно были залиты кровью. Вокруг его пояса висело несколько ножей в кожаных ножнах. Весь его облик напоминал образ палача времен Людовика. Сохрани бог иметь с ним дело. Весь его лексикон состоял из проклятий и ругательств, гремевших особо зловеще в его зверином голосе: «Огонь в ваше сердце! Разруха в ваши кости! Ноги и руки я у вас поотрываю! Печенки и кишки из животов ваших выпускаю!»

Сначала мы не поняли, почему мясник вдруг разъярился; лишь после того, как я высунулся из окна, меня охватила дрожь: внизу, под нами проветривалась постель мясника, на которую спускались наши мыльные пузыри и покрывали подушки и одеяла каплями дождя... И надо же было, чтобы при этой сцене показалась во дворе наша мама, которая как раз возвращалась с работы. Мясник набросился на маму и устроил ей такой теплый прием, что весь двор сбежался.

Мы с братом сначала растерялись: мы поняли, что нам не избежать экзекуции... Что делать? Времени для раздумий не оставалось; сейчас поднимется наверх мама. И тут моему брату пришла в голову гениальная мысль: не вымолвив и слова, он подошел к сундуку, который был доверху набит нарубленными дровами и стал их запихивать в штаны до самого низа... Сообразив, что мой брат задумал, я стал делать то же самое и заполнил мои штаны деревянными чурками. Вы можете легко себе представить, в каком раздражении ворвалась наша мать домой... Даже не сняв рабочий халат, она сразу же взялась за старшего брата — он все ж таки был старший... Бить нас мама никогда не умела — недаром дедушка говаривал, что она с нас гоняет мух. Но на этот раз после беседы с Янкелем-мясником мама решила не миндальничать и основательно стала колотить брата по мягкому месту. Но что это? Мама

колотит, а брат смеется! Чем сильнее она бьет его, тем громче он смеется... и его смех передается мне. Так что мы оба заходимся... Тут мама остановилась и, вне себя, принялась за меня. Но получилось то же самое: она шлепает, а я смеюсь, и мой брат смеется вместе со мной. Закончилось это тем, что из моих штанов стали сыпаться на пол дрова. Моя мама остановилась изумленная. Ее красивые большие глаза, казалось, полезли на лоб. Неожиданно весь гнев ее улетучился, и она залилась звонким смехом. Так что мы все вместе смеялись до колик в животе, но при этом в маминих глазах появились слезы.

## Мама

Рассказывать о своей родной матери, не теряя при этом объективность, почти также трудно, как чьей-то матери рассказывать о своих детях. Наши чувства, которые мы испытываем по отношению к человеку, который нас произвел на свет, выкормил своим молоком, оберегал нас от опасности, от недоброго глаза, и всю жизнь, и ночью, и днем молился за наше благополучие... здесь очень трудно сохранить непредвзятость. Как говорила моя мама: «Хорошая мать, плохая мать — но все ж таки мать». И я, наверно, не смогу избежать этого греха. Особенно теперь, чем больше лет меня отделяет от моей матери, тем более величавый и красивый вырастает передо мной ее образ. И многое из того, что она мне предсказывала, от чего остерегала — «вырастешь — поймешь...», стало для меня теперь яснее и вызывает удивление и уважение за ее мудрость, за ее истинное величие.

Росла моя мать в самой гуще бедности. Даже среди бедноты Файферовской улицы, что в пригороде Балет, ее отца, моего деда, звали не иначе, как Гедаля-бедняк, а мою маму — Сару-Миндл — дочерью Гедаля-бедняка (Гедаля-капцана). Всю свою жизнь она не забывала о своем прозвище и, как мне кажется, не то что

гордилась им (нечего сказать — есть чем гордиться), но, так сказать, немножко кокетничала. В разговорах, когда речь заходила о ее персоне, она часто говорила: «Иначе не привыкла дочь Гедальи-капцана». Даже в своем завещании, проникнутом мудростью и горьким юмором, она не забыла о своем происхождении: «Памятник такой, как пристало Гедальи-капцана дочери». Она была старшей из трех, оставшихся в живых дочерей в их семье. Ее мать — моя бабушка Хана — больная, измученная еврейка, была не в силах выдержать нищету, царившую в доме, и, совсем еще ребенком, моя мать впряглась в тяжелое ярмо, в воз бед и тягот и тянула его из последних сил. Не будет преувеличением сказать, что у моей мамы не было детства.

В восемь лет ее отдали, как служанку, нянчить маленького ребенка, и в то время, как ее подружки-однолетки игрались во дворе ляльками, сделанными из тряпья, маленькая Сара-Минделе нянчила на своих слабых, худых ручках живую куклу. За это она вечером получала немного еды. В двенадцать лет она с утра до вечера работала в пекарне, где выпекали мацу. Так она зарабатывала гроши и мучительные ожоги на руках. Но моя мама умела также рассказывать комические эпизоды из своего горького детства, а рассказывала она так, что мы все в доме, держась за животы, помирали со смеху.

Так, например, она однажды рассказала, как бабушка Хана одолжила у соседей полрубля для того, чтобы на праздник приготовить для своего Гедальи и его друга Мойшеле-горбуна угощение. Дедушка давно просил ее сделать чолнт<sup>1</sup>, как у людей. Бабушка купила мясо и усердно принялась застряпню. Трехлетняя Сара-Минделе, путаясь под ногами своей матери, по обыкновению ей помогала. Когда чолнт был уже готов, чтобы поставить его в печь, соседка для чего-то вызвала из комнаты бабушку Хану. Сара-Минделе, пользуясь этим обстоятельством, сняла на

<sup>1</sup> Чолнт — традиционное еврейское блюдо на шаббат, в состав которого входит мясо, картофель, фасоль.

пол тяжелый казан, и начала заново готовить этот чолнт. Наутро, когда дед пришел домой вместе со своим другом Мойшеле-горбуном из синагоги, бабушка надела свое единственное праздничное платье и в белой шали торжественно поставила чолнт на накрытый стол. Дед от предвкушения удовольствия весело потирал руки. И тут случилось что-то ужасное. Бабушка подняла горшок, но вместо чолнта она оттуда вытащила вилкой... тлеющую черную тряпку. Все стояли ошеломленные. Излишне рассказывать, что тогда разыгралось в доме. Через несколько дней, прибирая в комнате, бабушка Хана своим венником, вымела из-под кровати весь чолнт.

И еще одна «хохма» почти в том же стиле, о которой рассказала моя мама, осталась в моих воспоминаниях. В этот раз бабушка Хана пекла пряники. Когда баба Хана вышла во двор за водой, Сара-Минделе, присмотревшись, как ее мама посыпает пряники сахаром, решила показать свое умение готовить. Но вместо сахара маленькая хозяйюшка посыпала их песком. Мы с братом смеялись до слез, когда мама рассказывала нам эту историю и при этом с мастерством артистки изображала выражения лиц дедушки и бабушки, когда они взяли в рот эти пряники.

В четырнадцать лет, совсем уже взрослая, моя мать стала намотчицей и до поздней ночи при свете удушающих нефтяных лампочек наматывала у ткачей шпульки. Очень скоро она приобрела славу опытной специалистки в своей профессии, и ткачи Балета охотно приглашали ее к себе на работу. И действительно, когда мама брала меня с собой к ткачам, я не единожды был свидетелем того, как виртуозно она прикручивала сотни нитей законченной кеты (шпульки) в ткацком станке к новой кете (шпульке). При этом она постоянно тихонько напевала песню своим нежным голосом.

В пятнадцать лет, уже работая в Лодзи на ткацкой фабрике Познанского, моя мать примкнула к профсоюзному движению. В это же время, не выдержав фанатичный религиозный гнет у себя дома, она ушла из дому и начала самостоятельную жизнь.

Ее молодость прошла в изматывающем труде. Кто в ее годы и в ее среде знал об учебе в школе? Но все-таки, посещая рабочие кружки, моя мать научилась читать и писать немножко на идиш, как она любила выражаться. Она начала глотать книжки и прочитала при свете лампадок известных еврейских и западноевропейских классиков. Она не просто читала, она буквально впитывала в себя, как гриб, каждое произведение. Меня всегда удивляло, как ее память до конца жизни сохранила все, что она прочитала. Она с редким понятием и глубиной воспринимала прочитанное. Для нее не было большего удовольствия, чем обсуждать с друзьями и домашними произведения ее любимых писателей: Толстого, Достоевского, Мопассана, Тургенева, Гюго, Флобера, Менделеева, Переца, Шолом-Алейхема, Опатошу, Номберга, Аврома Рейзена, Довида Эдельштадта и многих других.

Не имея ни одного класса образования, она часами могла говорить о литературе, театре, искусстве, а в более поздние годы также и о политике. Она не пропускала ни одного литературного вечера и встречи в Лодзе с писателями своего времени. Она слушала, как читал Шолом-Алейхем, Шолом Аш, Перец, Номберг, Сегалович, она присутствовала на выступлениях Каминской, Адлера, Туркова.

В образе моей матери — простой еврейки — чудесно сплелись разум и красота истинного человека из народа. С ней любили беседовать известные еврейские писатели уже в мое время в Харькове. С некоторыми из них она подружилась и в течение долгих лет была вхожа к ним домой.

Моя мать была редкой красоты: симпатичная брюнетка с большими серыми, лучистыми глазами, светящимся умом. Но одновременно, в особенности в зрелые годы и на старости, в них были скрытая печаль и разочарование.

Я ни на йоту не преувеличу, если скажу (и так говорили все, кто ее видел и знал), что моя мама была из тех красивых женщин, которые могли украсить собой любое общество. Точеные черты лица

делали ее похожей на тип античных гречанок. Интересно, что она никогда в жизни не пользовалась косметикой, может быть потому, что своей женской интуицией чувствовала, что малейшая косметика умалит ее природную красоту. Она не только сама не пользовалась косметикой, но была врагом ее, и я бы сказал, с отвращением смотрела на женщин с вульгарно накрашенными губами и подведенными бровями. Это самое чувство было передано и мне.

Что касается одежды, то, кроме того, что она не располагала материальными возможностями, она была донельзя скромна и никогда не стремилась к красивым дорогим вещам, к тому, чтобы украшаться и «показать себя». Мне кажется, что в этом случае она бы потеряла свой вид. Она также была равнодушна к предметам роскоши, дорогим вещам. Ей очень мало требовалось, и это ее отличало от многих женщин, над которыми она стояла значительно выше в своих духовных потребностях и, мне кажется, этим гордилась сама перед собой. Должен признаться, что, начиная с детства и до последних лет жизни моей матери, мне было очень приятно слушать, как везде, где бы моя мама ни показывалась, все вокруг с восхищением говорили: «Какая красивая у тебя мать». Я сам не мог привыкнуть к ее красивому облику и, когда мне приходилось видеть, слышать или читать о красивых женщинах, я их всегда сравнивал с моей мамой, и всегда мой выбор был в пользу последней.

Моя мать была исключительной рассказчицей. Любой рассказ, любая история, пусть она будет из ее детства, юности или просто какая-нибудь новость, событие из ежедневной жизни, не говоря уже о многочисленных народных сказках, которые она рассказывала, начинал играть в ее изложении особыми красками. Она поражала не только одним искусным талантом художника. При этом она не меньше выражала своими умными глазами и мимикой, чем речью, которая была пересыпана настоящими драгоценными камнями народной мудрости и юмором. У меня осталось несколько рассказов, которые я записал исподтишка на магнитофонную ленту. Это чистые изумруды для тех, кто разбирается

в этом. В каждую годовщину смерти моей мамы, при свече, с затаенным дыханием я слушаю ее голос и несравненную интонацию. Она сидит напротив меня, как живая, и мне так хорошо.

Когда я говорю об этой реликвии — мне приходит на память вся история, как я записал ее голос. Это было осенью 1954 года. Я — старший офицер Советской армии — уже жил тогда с моей семьей в городе Камышине, что на Волге. Моя мать жила одна в Харькове в маленькой комнатке на четвертом этаже, куда она еле добиралась на своих больных ногах. Мы уже не виделись с ней пару лет и соскучились один по другому. Но как ни тяжело для нее это было, мама стремилась приехать в гости к своим детям и внукам, освежить немного свою душу, как она мне писала. Мы с ней договорились, что мой брат в Харькове посадит ее в вагон и я выведу ей навстречу в Волгоград, где я ее сниму с поезда и с ней вместе мы поедем потом в Камышин. Поезд прибыл в Волгоград поздно вечером, и я встретил мать в тяжелом состоянии. Она, возможно, в пути отравилась несвежими продуктами и ее сильно тошнило. Она была бледна и слаба. Я был в замешательстве и не знал как действовать: остаться ли с ней в чужом городе на ночь, или отправиться в речной порт, откуда должен был через час отплыть корабль в Камышин? Я отважился не без труда на последний вариант. Через 15 минут такси нас привезло в порт, и мы заняли наши места в каюте первого класса на роскошном корабле. Возможно, что к этому времени маме само собой стало немного легче, но как только она взошла на корабль, она тотчас же воодушевилась грандиозным сооружением — первый раз в жизни она очутилась на корабле, и когда она прилегла на диван в нашей каюте, она с улыбкой в глазах произнесла: «Ну да, к этому ведь дочь Гедадьи-капцана не привыкла». Я очень волновался, как мама перенесет путешествие по Волге, которая не всегда является спокойной рекой и имеет свои капризы, причем в таком состоянии, в каком я ее встретил. Я пустился на хитрость и начал «заговаривать зубы» маме о мировых событиях, по которым она

в своей одинокой жизни проголодалась. И я попал в самую точку. Я ни на йоту не придумываю, она даже не заметила, как корабль вышел из порта, и, когда она меня невзначай спросила, скоро ли мы отплывем, наш корабль был уже далеко от города на самой середине широкой Волги, на которой месяц проложил желтую тропинку. Слава богу, что погода была благоприятной, а Волга — тихой, так что мать была очень удивлена, когда я ей сообщил, что мы уже давно отплыли.

В Камышин мы прибыли совсем рано. Как только мы поднялись на высокий берег, моя мама с любопытством оглядела город в лучах восходящего осеннего солнца и с удовольствием заявила: «Я поклялась бы, что я в Плоцке».

Дома ее ожидали теплая встреча моей жены и внуков.

Вечером, после чаепития, мы уютно сидели, как в былые добрые времена, вокруг стола и беседовали о разном. Мне захотелось записать на магнитную ленту мамин голос, но только так, чтобы она об этом даже не подозревала.

Моя мать, не взирая на то, что она в области духовной была вполне осведомленным и современным человеком, в делах технических и науке была совсем необразованна, и, когда я положил на стол магнитофон, она не обратила на это никакого внимания, принимая мою возню с ящиком, как обыкновенное дело. И, когда микрофон уже был приготовлен и включен, я к ней придвинулся поближе и завел с ней разговор, во время которого она рассказала на свой манер историю, как она у себя в Харькове покупала гречку. Нужно было видеть, как моя мама изумленно застыла с широко открытыми потрясенными глазами, когда сразу же после ее рассказа я воспроизвел на магнитофоне эту, только что записанную, историю и она услышала свой собственный голос и «гречку». Это было незабываемо.

После этого, уже с ее ведома, я записал две народные сказки: одну историю, которую мать при хорошем настроении рассказывала на всех домашних праздниках: «Жил-был когда-то раввин».



И очень нравилась слушателям вторая сказка «Нойтл», которую я опубликовал в третьем номере еврейского журнала за 1978 год. В этот же вечер мне удалось записать несколько еврейских народных песен, которые моя мама с большим чувством и очарованием пропела для нас и воскресила передо мной мое далекое сладкое детство, те времена, когда я слушал эти самые песни в нашем бедном доме в Балете.

Эти несколько недель, которые мать провела у нас, были для нее одними из немногих счастливых недель в ее жизни. Она имела удовольствие от своих дорогих внучат, от города, который ей напоминал Плоцк, от Волги, которая ей напоминала Вислу, от леса за городом, где мы с ней проводили в красивые осенние дни отдых, от нашей умной овчарки, с которой она разговаривала на идиш и которая ей также напоминала нашу Лизку, собаку, которую мы держали у себя дома в Харькове много лет и которая также пала жертвой в 1937 году.

Эту собачку мне подарила уборщица нашей харьковской еврейской школы, и, когда я ее, совсем еще крошкой, принес домой, мои родители протестовали: кто будет убирать после нее, кто будет ее кормить? Еле-еле, с большими трудностями, после многих обещаний, что я сам это буду все делать, собака осталась в доме, и мои родители, особенно мама, так привязались к этому созданию, прямо-таки любимчик! Разговаривали они с Лизкой — так мы назвали собаку — только на идиш. Таким образом, собака понимала аж два языка.

Я помню, как однажды, в начале 30-х годов, придя домой после работы на фабрике, мать узнала, что Лизку поймал гицл<sup>1</sup>. Моя мама была вне себя. Усталая после тяжелого рабочего дня, она все бросила и отправилась на поиски фермы, куда гицели отвозили собак. Возвратилась она в полночь, едва держась на ногах. С большими трудностями она добралась тогда до фермы далеко за городом, и когда она туда добралась, кроме сторожа там уже никого не

<sup>1</sup> Гицл — ловец бродячих животных.

было. Ключи от клетки, в которой была заперта наша Лизка, были у заведующего хозяйством. Моя мать слезно просила у сторожа и заплатила ему, чтобы он спас собаку. Тот твердо обещал. Мы все в доме провели бессонную ночь, и можете себе представить нашу радость, когда рано утром поскреблась в двери наша Лизка.

В злополучном 1937 году мама была вынуждена расстаться с Лизкой. После того, как отца забрали из дому, собака несколько дней ходила с опущенной головой и потухшими глазами, мало ела, как будто она понимала трагизм происшедшего. Нас с братом тогда не было в Харькове, а маму переселили в малюсенькую комнатку в густонаселенной коммунальной квартире, где соседи не хотели терпеть собаку. И тогда мама отдала Лизку знакомому рабочему со своей фабрики. До начала Второй мировой войны мама время от времени посещала свою собаку. Я также ходил к ней, когда мне приходилось до войны быть в Харькове. Дальнейшая судьба Лизки для нас осталась неизвестной. После возвращения из эвакуации, мы уже не застали ни дом, где находилась собака, ни хозяина, ни Лизку.

Но я немножко отклонился. Еще одно удовольствие моя мама получала во время вышеупомянутого и также при последующих приездах в Камышин, когда беседовала со мной немножко о политике. Она не была сведуща в проблемах международной политики и я немножко подтрунивал над ней, уверяя ее, что в ней сидит дипломат. Мы оба смеялись, но, по правде говоря, мне не раз приходила в голову мысль, что моя мать при соответствующем образовании, воспитании и условиях могла бы действительно занять место в обществе. Я сожалею до сих пор, что мне не удалось заснять мать в тот миг, когда она слушала радиопередачу у «ящика» — так она называла радио. Она всем своим естеством как бы растворялась в «ящике», забыв обо всем вокруг.

Вообще-то моя мать была большой мастерицей давать точные имена разным вещам или прозвища людям. Интересно, что все ее названия и прозвища немедленно приклеивались, как говорят, навечно. Кстати, мои близкие и друзья утверждают, что я также

обладаю этой способностью. Если это правда, то это наследственность моей матери, и я могу добавить, что также и мои дети унаследовали эту особенность.

Выше я уже упоминал, что моя мать при всей ее прогрессивности в сфере духовной жизни, до конца своей жизни оставалась упрямым ретроградом в вопросах цивилизации, и, как многие люди говаривала при споре: «Ай, что вы говорите? Вот в старые времена...» Ее консерватизм более всего проявлялся в неумении овладеть русским языком. Живя много лет в России, она никак не могла более или менее правильно говорить по-русски, и я бы сказал, не стремилась к этому, довольствуясь своим запасом слов на идиш. Мои внуки добродушно забавлялись, когда их бабушка говорила с ними по-русски. На той же магнитной ленте, на которой я записал некоторые ее сказки, также остался образец ее разговора по-русски, вызывающий при его прослушивании улыбку.

Моя мама любила людей, общаться с ними, выслушивать интересные истории, а потом пересказывать их другим. Особую любовь она проявляла к бедным людям, людям из своего сословия, сочувствовала им в их страданиях и заботах. Очень часто к ней приходили знакомые и друзья за советом и ее слово у них имело большую ценность. Она была педантично точна, исключительно честна и ненавидела лгунов, непорядочность и людей, высказывающих свое зазнайство, гордыню. У нее на всю жизнь осталось чувство классовой ненависти к богатым и она была глубоко убеждена, что хороших честных людей надо искать среди трудовых людей, которые зарабатывают свой хлеб собственными руками. Она плохо чувствовала себя среди зажиточных людей и избегала их общества.

Будучи очень красивой женщиной, она в молодости имела много поклонников, которые добивались ее руки, среди них немало богатых молодых людей. Из Америки приехал за ней жених — богатый. Всем она отказала и отдала предпочтение рабочему — моему отцу. Она была гордой, независимой от вещей и людей, которых она не любила, и не отступала от своих принципов

настолько, что временами казалась немного суховатой. Но зато сделать добро человеку, к которому она была расположена — это было для нее святым делом.

Моя мать была отличной воспитательницей своих детей. Я этим ни в коем разе не хочу утверждать, что мы с братом вышли из ее рук хорошо воспитанными. О, сколько нам до этого не доставало. Много из ее воспитательных концепций, если можно так назвать ее действия в этой области, удивляли меня еще в условиях тогдашней жизни. При ее образовании, вернее необразованности, с такими двумя вечно враждовавшими между собой, как я и мой брат, мать наша, как воспитательница, была исключением в нашей среде. Она у нас была строгой и не пропускала никакой финт с нашей стороны. Я вспоминаю, как однажды, придя поздно вечером с работы (это было еще в Лодзи), она потребовала у меня отчет, приготовил ли я все уроки. Я солгал. Она потребовала показать ей тетрадь. Чтобы выйти сухим из воды, я продолжал врать, что, мол, тетрадь я забыл дома у моего школьного товарища, с которым я делал уроки. При чем я назвал товарища, который жил почти на другой стороне города. Так она не поленилась, и, невзирая на то, что она только что, уставшая, зашла в дом, отправилась к далекому товарищу моему. Легко себе представить, что я тогда от нее «заработал». Во всяком случае, обманывать свою маму я больше не посмел.

Моя мать была против телесных наказаний, но, когда мы с моим братом выводили ее из себя, она не стеснялась и давала несколько шлепков по мягкой части тела. В более поздние годы я, полушутя, говаривал, что мало она нас шлепала.

Если в раннем детстве я был «хороший», а мой брат «плохой», то в школьные годы, особенно в 5-х классах, мы поменялись ролями. Мой брат усердно учился, правда, дома он ничего не хотел делать, а я, наоборот, не хотел учиться, мне больше нравилось бегать во дворе, играть в клипу, в футбол, волейбол и другие игры, бегать с ребятами на реку купаться, спускаться с горы на коньках, лыжах

и санках, пробраться в кино без билета, ходить за город в лес за дикими грушами, устраивать разные пакости во дворе и в школе или просто слоняться без дела. Сколько ни старались втолковать мне мои родители, что я уже взрослый и пора уже взяться за ум — им ничего не помогало, и они этим очень огорчались.

Правда, что касается помощи в доме — тут я служил примером. В некоторых случаях я был в этом доме прямо-таки незаметным для своих родителей. Пока они были на работе, я ходил за покупками, прибирал в квартире, выполнял поручения. Помогал маме тащить кошелки с базара и в очень трудные 1931—1933-е годы вставал в морозные ночи сам, стоял в длинных очередях и приносил домой буханку хлеба. Нередко мне, маленькому мальчишке, удавалось прошмыгнуть в булочную без очереди — тогда я этим гордился и был счастлив. Однажды я за такие дела попал в милицию. Там меня продержали несколько часов, составили протокол и отпустили. Это был для меня несчастливый день, и не от того, что я пропустил уроки в школе, а оттого, что я домой пришел без «моего хлеба».

Может сложиться впечатление, что я хочу показаться с хорошей стороны. Ни в коем случае. Я был неплохим помощником для моих родителей, тяжело трудившихся на фабрике. Но тут идет речь не обо мне, а о моей матери. Уже в более поздние годы, когда я с большими трудностями поступил в институт и попал в число студентов-отличников, моя мама этим гордилась и, когда кто-либо жаловался, что ребенок не хочет учиться, она успокаивала собеседника, ссылаясь на пример со мной. Я помню, как она тронута была, когда я к ней пришел с дипломом врача. В ее глазах появились слезы и она с чувством сказала: «Ну, слава богу, мое дитя, если бы Гедаля-капцан втал с того света и увидел своего внука доктором».

Когда я, время от времени, потом приезжал к моей старой матери в Харьков, она меня водила по своим знакомым, и я ей не отказывал в этом, понимая, сколько удовольствия в ее одинокой

тяжелой жизни доставляю ей такими визитами. Помню, как гуляя со мной, одетым в военную форму подполковника, по харьковским улицам, она с интересом и удовлетворением наблюдала, как младшие офицеры отдавали мне честь, и она на всякий случай меня спрашивала: «А это кто?» В последние годы своей жизни наши встречи были единственными радостными для нее днями. Я не раз предлагал моей маме переехать жить ко мне, хотя мое положение, как военного, не было стабильным в смысле постоянного места жительства. Но она меня всегда от этого отговаривала. Больная, немощная, она боялась стать мне в тягость и, кроме того, она очень ценила свою самостоятельность.

Умерла моя мама в Харькове 27 января 1971 года в возрасте 78 лет. Когда я прилетел по вызову своего брата, мать моя лежала в госпитале с затуманенным сознанием и меня не узнала. На завтра она скончалась. Мы с братом похоронили ее без всяких цветов согласно ее завещанию. «Ты не должен разрешать никому возлагать на мою могилу никакие венки ни от кого. Я их не имела при жизни и после смерти они мне тем более не нужны. Памятник такой, как подобает Гедальи-капцана дочери. Еще раз напоминаю — никаких венков».

Мне кажется, что завещание отражает настроение моей матери, ее философский взгляд на жизнь: «Мой дорогой Беньюмин! Я хочу написать тебе несколько слов перед тем, как проститься с глупой жизнью, еще более глупым миром, не давшим мне никакой радости. Поэтому мне не очень жаль, что я готовлюсь в путь, от которого никто не может спрятаться: ни бедный, ни богатый, ни умный, ни глупый. Все равны — это величайшая истина, которая мне открылась. И я не страшусь, хотя и не знаю, когда это случится. Вскорости, или, возможно, это может еще затянуться. Это не зависит от меня, как захочет ангел смерти: если он не будет бюрократом и сделает свое дело... Как ему будет удобно...» и т. д.

У меня сохранилась пачка писем, которые мама мне написала в разные времена. В минуты невзгоды я развязываю священную

для меня пачку и беседую с моей великой мамой. Часто, когда я в чем-то сомневаюсь или мне нужно решать различные дела, я обращаюсь мысленно к моей маме и прислушиваюсь, что она мне подсказывает или представляю себе, как она поступила бы в том или ином случае. Я ее постоянно чувствую возле себя и в себе. Если человеческие души бессмертны, я бы лишь хотел одного: когда я закрою глаза, чтобы наши с ней души встретились.

## Отец

Писать о моем отце без боли невозможно. Молодой, красивый, он пал невинной жертвой мрачного 37-го. Когда я думаю о его судьбе, а я об этом думаю часто, я пытаюсь представить себе весь ужас его чистой души, когда в ту злополучную ноябрьскую ночь его забирали из дому. Я пытаюсь себе представить те моральные и физические страдания, которые он перенес в северных лесах в арестантском ватнике при 50-градусном морозе с сознанием своей абсолютной невинности.

Кто еще так любил Советскую Россию, как мой отец? Кто еще так рвался сюда из антисемитской Польши? Кто еще так благоговял страну, которая дала ему работу и равноправие? Страну, где для его сыновей были широко открыты двери для образования и совершенствования? Это был фанатик, который узнав из газет о каждом достижении страны, воспринимал его с восторгом и радостью, как собственный праздник, и когда в его присутствии кто-то ворчал и жаловался на трудности, всегда восставал против этого. Страдания, которыми пропитаны его письма из лагерного барака, по сей день хранящиеся у меня, удваивались при мысли, что страдает он не один, но и вся его семья. Мечтатель и оптимист по натуре, мой отец до последнего вздоха верил, что справедливость, в конце концов, восторжествует. И она таки восторжествовала. Но слишком поздно.

Мой отец, Вольф Бранд, родился в Лодзи в 1891 году в большой бедной семье. Он был самым старшим среди четырех братьев и сестры. Его отец рано умер. Его мать, мою бабушку Хейвэд<sup>1</sup>, я помню очень смутно. Это была высокая, стройная, красивая еврейка. В нашем доме она была редкий гость и заметного следа в моих воспоминаниях не оставила. Ранние детские годы мой отец провел в хедере и в полной мере испытал на себе «прелести» хасидизма. С двенадцати лет Велвл уже гнул спину у ткацкого станка и зарабатывал на семью. Он работал у ткачей на дому и на больших фабриках Познанского и Гаера.

Очень рано отец порвал с религией и включился в профсоюзное движение. Он стремился к светскому образованию и, не имея возможности для этого, с неистребимой волей и упрямством целые ночи после работы сидел над книгами и сам, без посторонней помощи, добрался до элементарных основ науки. Он изучал математику, физику, был влюблен в астрономию. Звезды, планеты, космос — это была его страсть, которая не прошла даже в зрелые годы. Его любознательность в области техники, изобретений и открытий действительно не знала границ. Мечтатель и фантазер, он всегда ходил с высоко поднятой головой, со взглядом, обращенным к небу, будто хотел там что-то найти.

У меня в памяти осталось лето 1936-го, когда ожидалось полное солнечное затмение. Мой отец ходил возбужденный и с каждым из своих знакомых обсуждал предстоящее событие с таким азартом, как будто оно имело к нему непосредственное отношение. Он потерял покой, рылся в книжках, коптил сажей стеклышки и не мог дождаться 19-го августа, если я не ошибаюсь. Он тогда работал в третьей смене и, придя домой после тяжелой ночи, не отдохнувши, не поевши, схватил свои закопченные стеклышки, вылез на крышу нашего пятиэтажного дома и вместе с дворовыми мальчишками с восторгом наблюдал золотую солнечную корону.

---

<sup>1</sup> Хейвэд — сокращенная форма от женского имени имени Йохевед.



Влюбленный в математику, мой отец часто выискивал интересные задачи из геометрии, приносил домой замысловатые игры, требующие усидчивости, и часто часами ломал над ними голову. Моя мать в таких случаях немного подтрунивала над ним, но отец никого не слышал и продолжал свое дело.

Однако мой отец был не только технарь. Это был человек с разносторонними интересами, любил литературу, театр, выразительно и красиво читал нам все произведения Шолом-Алейхема. Он сам писал песни и некоторые из них опубликовал в Лодзинской еврейской прессе в начале 20-х годов.

У нас дома хранилась баллада отца «Улочка в Балете», напечатанная в «Лодзинской газете». Это была прелестная песня, написанная от всего сердца человеком, выросшим среди бедняков лодзинского гетто. К сожалению, во время войны эта песня затерялась.

Почти к каждому дню рождения мой отец посвящал мне стихотворение. Одно такое посвящение к моему 14-летнему дню рождения у меня случайно сохранилось. Стихи были написаны на обратной стороне почтовой открытки из Ялты, где мой отец отдыхал в 1932 году. Вот они, эти строки:

*И — годы бегут незаметно так вдаль,  
О — них я жалею, и время мне жаль.  
М — оменты, мгновенья дарят они нам,  
Э — нергию, смелость — спасибо годам.  
Бр — ать главное в жизни, беседовать с ней...  
А — х, дайте надежду мне, дайте мне цель!  
Н — ету той силы, чтобы сильнее  
Д — уши моей чувство — еще что святей?*

Среди писем моего отца, которые я берегу, как дорогие реликвии, имеется еще несколько стихов, которые он мне посвятил — это для меня были самые лучшие подарки.

Мой отец был страстным любителем музыки, в особенности скрипичной. Он любил брать меня с собой на все праздничные концерты, и я наблюдал, как он, отрешенный от всего вокруг, слушал скрипку. Обладая замечательным слухом, мой отец сам играл на скрипке, правда, довольно примитивно, но надо принять во внимание, что никто не обучал его музыке, он был настоящим самоучкой еще с юных лет. Сколько я помню моего отца, он со своей скрипкой никогда не разлучался и очень часто у нас в доме звучали чудесные мелодии еврейских, польских и русских народных песен. Он очень любил играть Грига «Песню Сольвейг». Какую бы работу не делал мой отец, он всегда напевал. Песен он знал много и пел их с выразительным лиризмом. Помню, как я однажды присутствовал в харьковском еврейском клубе на вечере самодеятельности, где на эстраду приглашали певцов из публики, всех желающих, и как неожиданно для меня было, когда после нескольких выступлений встал со своего места мой отец и поднялся на сцену. Он пел еврейскую народную песню «Добрый вечер, Брайна» и аккомпанировал ему экспромтом известный в то время еврейский композитор Заграничный. Растерявшись от шумного успеха, мой отец почти сбежал со сцены на свое место, чтобы поскорей смешаться с публикой в зале...

И еще одна слабость была у моего отца — шахматы. В выходные и праздничные дни он мог часами засиживаться над шахматной доской. Стоило кому-нибудь из его друзей и знакомых и даже моих молодых друзей прийти в наш дом, мой отец тотчас же делал им предложение: «Может партию в шахматы?» Его считали сильным игроком, и редко кто из его партнеров выигрывал у него.

Да, редким человеком был мой отец, влюбленный в жизнь с неунывающей жадностью ко всему, что связано с человеческим творчеством.

Красивым был мой отец: высокий, стройный, широкоплечий, с крепкими мускулами от напряженной работы, с красивыми курчавыми волосами, похожий на поэта. Он и мама представляли собой гармоничную пару и образец физического совершенства.

И вот такой человек погиб без всякой причины от рук бериевских и ежовских убийц...

В 1925 году, будучи безработным и не в состоянии перенести жестокий антисемитизм, мой отец с несколькими своими товарищами бежал из Польши в Советскую Россию. В те годы это было не особенно трудно. Это было время «открытой границы», когда большие массы людей, видевшие в красной стране новую отчизну для себя, своих детей и внуков, двинулись в Советскую Россию. Я помню, как в зимний день, мой отец, одетый в кожух и новые сапоги, с рюкзаком на спине, обнял меня с братом и вместе с мамой вышел из дому. Скоро мать вернулась с заплаканными глазами и на наши вопросы ответила, что отец уехал к дяде (брату отца), который работал на мельнице где-то возле Петеркова.

Прошло короткое время и от отца пришло длинное письмо. Я не помню его содержания, моя мама много раз читала это письмо для родственников и друзей, которые зачастили к нам в дом после отъезда отца, и каждый раз при чтении письма они утирали слезы. В письме папа описывал все подробности своего путешествия в Россию. Польскую границу он перешел вместе со своей группой темной ночью в сопровождении одного контрабандиста, а на русской стороне они сразу же сдались советским пограничникам. После нескольких дней задержки на пограничной заставе всю группу перебежчиков выслали в Сибирь — в Иркутск, откуда отец и написал это письмо.

Мне было диковинно слушать, как мама читала о страшных морозах в Сибири, и я катался со смеху, читая рассказ отца, как на базаре в Иркутске он покупал молоко в мешке. Он писал, что работает на ткацкой фабрике и, что скоро, наверное, получит разрешение от властей на переезд в Харьков, где поселилось много его знакомых из Польши — также перебежчиков. И как только он устроится, он тотчас же начнет хлопотать, чтобы мы все переехали к нему. Так я узнал, что мой отец находится в сказочной

стране, где все люди равны, и мысль, что мне предстоит вместе с мамой и братом переехать в далекую Россию с ее трескучими морозами, высокими горами и густыми лесами, которые отец так образно описывал, овладела моим естеством.

Я рассказывал об этом всем моим товарищам, и они слушали меня с широко открытыми глазами и завидовали мне. По ночам мне стал сниться один и тот же сон: в одних санях летим мы с отцом вниз с высокой солнечной заснеженной горы и громко смеемся от удовольствия.

Затем потянулись дни бесконечного ожидания. Каждый раз отец нам сообщал различные, захватывающие дух, новости о новой стране и новой жизни. И когда прошло несколько месяцев, он получил разрешение оставить Иркутск и переехать в Харьков, где немедленно приступил к работе по своей специальности на ткацкой фабрике «Красная нить». Плохо приходилось моей маме одной. Работать с утра до вечера и при этом воспитывать таких сорванцов, как мой брат и я. Но она все вынесла, всё вытерпела.

Так в подготовке к переезду прошло 2 года, пока отец не получил квартиру для нас, добился визы и у нас начался лихорадочный период подготовки к отъезду. Мама целыми днями бегала как загнанная лошадь. В России ведь холодно, значит нужно теплое белье, кожушки, ботинки, меховые шапки, рукавицы. Отцу надо купить красивый костюм, и это нужно, и то нужно — шутка ли — мы ведь едем в Россию! Слава богу, отец на все это прислал деньги. Каждый вечер к нам заходили знакомые и незнакомые люди, каждый советовал, что взять с собой, хотел передать с нами для своих близких различные вещи. Другие приходили просто повидаться, и дедушка, у которого мы жили последние месяцы перед отъездом, сердился, что двери дома не закрываются.

Наконец-то настал долгожданный день. Мы с братом, наряженные в новые одежды, сидим уже в вагоне. Я вижу через окно большую толпу знакомых, родственников, друзей. Они окружили маму тесным кольцом, каждый хочет что-то сказать, что-то пожелать

и, когда остались считанные минуты до отхода поезда, мама заходит в купе с полными руками коробок, которые подарили нам провожавшие, и вместе с ней заходит бабушка. Бабушка садится, опершись красивой головой на свою толстую палку, и я замечаю, как из его блестящих серых глаз — точно, как у мамы, — скатываются слезы и текут по его длинной серебряной бороде. Для меня это в диковинку: еврей с бородой и... плачет. Мать успокаивает его и плачет тоже. Мне же радостно, как никогда, хочется петь и кричать, чтобы весь мир знал — мы едем в страну чудес, мы едем в Россию.

Ехать в поезде — это был для меня настоящий праздник. Мое счастье еще увеличилось, когда мы переезжали с одного вокзала на другой: я впервые в жизни сидел в автомобиле, который мчал нас по улицам Варшавы, по широкому мосту через Вислу. До сих пор я видел поезд только в своем учебнике. А тут я еду в нем по-настоящему! Я слышу, как подо мной стучат колеса, мимо пролетают домики, речки, лужайки, леса. Я не могу оторваться от этого зрелища, и к тому же еще время от времени мама сует мне в руку то шоколадку, то вкусный пирожок, который я редко кушал до сих пор — просто, как в раю.

Через несколько часов вечером мы незаметно приехали в Варшаву. Когда мы вышли из вагона, я с удивлением увидел мою воспитательницу из лодзинского детского сада, с которой моя мать все эти годы поддерживала дружеские отношения и которая последние годы жила в столице. Она нас ввела в большой зал вокзала, наскоро о чем-то переговорила с мамой. Нам с братом подарила по красивому ножичку с костяной инкрустированной ручкой, по ручному карманному фонарику. Это все было, как волшебство, я был на седьмом небе от счастья.

Отсюда мы поехали в Здолбунов к русской границе, где задержались на целый день из-за разных пограничных процедур. Назавтра мы уже выехали в Шепетовку, где нас ждал папа. Наша встреча была трогательной, но я помню свое разочарование, когда вместо красивых гор и лесов, которые мне снились по ночам,

передо мной возникло неуютное, заболоченное местечко. И еще меня удивляло: такие же люди, в таких же одеждах, как в Польше и никто нас не приветствует... Я был просто уверен, что в стране, где все люди — братья, все должны друг друга на улицах приветствовать... Я был также ошарашен тем, что извозчики стегают своих лошадей кнутом точно также как в Польше. Это как-то не гармонировало с моим представлением о гуманизме в новой стране...

Из Шепетовки мы вместе с отцом выехали в Харьков, куда благополучно прибыли 30 ноября 1928 года — в день моего десятого дня рождения.

Время, когда мы стали гражданами России, было очень тяжелым: конец НЭПа, трудности с продуктами... Особенно нам — людям из другой страны, абсолютно не знавшим языка, не успевшим встроиться в новую жизнь и осмыслить свое новое окружение — все казалось странным. Моя мать начала было ворчать, но отец ее успокаивал и пробовал ей объяснять, что происходит. Каждый день он выискивал в газетах строчки, где речь шла о новых стройках, о гигантах-заводах, электростанциях, и с жаром убеждал мать, что существующие трудности временные, что надо набраться терпения, что еще год-два-три и жизнь станет чудесной. Он сам в это фанатично верил. И когда мама высказывала временами недовольство, он тут же разбивал ее аргументы. Он рассуждал: государство обеспечило нас работой, квартирой; наши дети учатся в школе и все пути для учебы и труда у них открыты; мы не слышим больше слово «жид»; мы здесь полноправные люди... Свой оптимизм и патриотизм отец старался внушить всем, кто его окружал.

Иди, знай, что через несколько лет его назовут «врагом народа» и цинично уничтожат, чтобы годами позже, уже мертвого, реабилитировать... Нет, это не ирония судьбы, это ужас судьбы, который совершил переворот и в моей жизни. Но об этом позже.

## Вода в часах

Мой отец был очень увлекающейся натурой. Если он за что-то брался, его невозможно было от этого оторвать — пусть хоть гром и молния...

Моя мать со свойственным ей юмором подтрунивала над ним при удобном случае; особенно тогда, когда отец упирался во что-то, она ехидно ему напоминала: «Велвеле, кажется вода в часах...» Нередко эта реплика помогала, и отец сдавался.

Будучи ребенком, я эту «воду в часах» пропускал мимо ушей. Но, ставши старше, я как-то пристал к маме, чтобы она мне рассказала, о чем идет речь. И она мне рассказала.

Во время Первой мировой войны, оставшись безработными и убегая от голода, мои родители поселились в Плоцке, где в погоне за куском хлеба испробовали десятки профессий: от мощения дорог у немецких оккупантов до подпольного изготовления папирос. Когда моя мама была беременна мною, отец нанялся на лесоповал за несколько верст от города. Как лесоруб, он целую неделю проводил в лесу и лишь на субботу приходил в Плоцк, к семье.

В один из летних дней, в пятницу вечером, возвращавшегося в город отца застал в пути ливень. Вокруг лишь сплошной темный лес и никаких признаков жилья, где можно было бы спрятаться от проливного дождя. И тут вдруг отец вспомнил, что у него в кармане лежат часы — его старые, покарябанные часы, которые переходили по наследству от одного поколения к другому и остались у отца, как у старшего среди братьев. Эту семейную реликвию отец оберегал как зеницу ока. Он держал часы в кожаном футляре и никогда с ними не расставался. Боясь, что часы зальет водой, отец разделся и завернул свое сокровище в еще не совсем промокшую одежду. Нетрудно представить себе состояние одинокого голого человека в густом темном лесу в таком потоке.

Не меньше пришлось перенести моей бедной маме, в полном страхе ожидавшей мужа, чтобы он, не дай бог, не заблудился в таком светопреставлении. «У меня начались боли, и я думала, что рожаю...», — так рассказывала о себе мать. Поздно ночью она услышала шаги на ступеньках и с сильно бьющимся сердцем открыла двери. На пороге стоял, как призрак, голый, промокший, замерзший мужчина, в котором мама едва узнала своего мужа. В руках он держал мокрый сверток одежды и дрожал, как осиновый лист.

Когда отец немного согрелся и пришел в себя, он прежде, чем взяться за горячую картошку, поставленную перед ним мамой, развернул насквозь промокшую одежду и достал оттуда свои часы. Открыв при свете маленькой керосиновой лампы верхнюю крышку часов, отец изменился в лице — он обнаружил в часах воду. «Какая там еда!» — рассказывала мама. Он забыл о лесе, о дожде, о жене, уселся у столика при керосиновой лампе и при помощи своего карманного ножичка вынул внутренности часов, вытер стеклышко, циферблат, крышки и снова собрал свои часы. Довольный проведенной операцией, отец вытер пот со лба и хотел взяться за остывшую картошку, как вдруг заметил, что под крышкой часов еще осталась вода. Все повторилось сначала: снова он разобрал часы, снова вытряхивал из них воду, снова вытирал и снова собирал. Мать была вне себя и со слезами на глазах просила отложить работу на завтра, поесть и отдохнуть после такой дороги... «Ну иди и говори к стенке...» «Еще минуту, еще момент», — отговаривался отец, вот-вот он заканчивает, вот-вот он уже пойдет кушать. «Что я могла сказать? — продолжала моя мать. — Мой Велвл провозился с часами всю ночь. Несколько раз подряд разбирал их на мелкие части, трусил их и вытирал и снова их собирал. Так повторялось до тех пор, пока солнце не взошло и не заглянуло в наше чердачное окошко. Я уже успела задремать, когда мой муж разбудил меня радостным криком:



— Сара-Минделе, смотри, я их спас!

— Кого спас? — я спресонок не поняла.

— Часы! Мои часы спас от воды! Послушай-ка, они идут!..»

И хотя отец целую ночь не спал, он потом весь день ходил веселый и бодрый, шутил, пел, каждый раз вынимал с гордостью из кармана часы и не мог вдоволь насладиться своей работой. Моя мать дальше рассказывала: «Вы думаете, это уже конец? Ничего подобного. Вечером, перед сном отец завел часы и положил их на стул возле кровати, чтобы он, не дай бог, не проспал на работу. Но что это? Мой Вольф остановился как парализованный.

— Что случилось? — спросила я испуганно.

— Вода в часах... — проговорил он.

— Что это еще за несчастье такое? — уже не выдержала я, выхватила часы из его рук и уже готова была разбить их вдребезги... Но я взглянула на часы. — Какая там вода? Что за вода? Это отсвет керосиновой лампы в твоих часах кажется тебе водой...

Я расхохоталась и, когда отец убедился, что вода это совсем не вода, он начал смеяться вместе со мной, и мы оба так громко смеялись, что соседи в доме начали стучать нам в стены, чтобы мы не мешали им спать...»

С тех пор, когда родители мои начинали о чем-то спорить, моя мама всегда напоминала: «А, Велвеле, наверное, вода в часах...» И отец мой сдавался.

## Плоцк

Я родился в Плоцке, городе на Висле, но знаю о нем только от своих родителей.

Во время Первой мировой войны в Лодзи остановились ткацкие фабрики, и мои родители сразу же после свадьбы, оставшись без работы, вынуждены были покинуть город и отправиться по стране в поисках средств к существованию.

Сначала судьба привела их в Волковиск, где они нанялись на строительство шоссе, которое там прокладывали немцы. Перед моими глазами лежат две пожелтевшие от времени фотографии, на которых изображены мои молодые папа и мама, в рваной одежде, с лопатами в руках на фоне груд с камнями и снега на шоссе. В стороне стоят немецкие солдаты — оккупанты Польши. Картина эта невольно переносит память к временам Второй мировой войны и вызывает ассоциации с гитлеровскими концлагерями. На обратной стороне фотографии сохранилась надпись, сделанная рукой моего отца:

*Ах ты жизнь, ах ты жизнь  
До чего ж ты тяжела.  
Это все, что нам дала.  
Уж и слез нам не хватает.*

Очень много мне потом рассказывали мои родители о своих мучениях и огорчениях, которые им пришлось вынести во время работы на шоссе. С большим трудом им удалось вырваться от немцев и переехать в Плоцк.

Всю свою жизнь и до сегодняшнего дня я мечтал посетить город, где я родился, где прошли первые полгода моей жизни. В моем воображении Плоцк представлялся маленьким красивым городишком на возвышении, в подножии которого струится Висла. Жили мои родители в островерхом трехэтажном домике с высокими деревянными ступеньками на чердаке. Комнатка была маленькая, с низеньким потолком, нависшим над самой головой. Вся мебель состояла из железной кровати, табуретки и столика.

Вот в этом самом дворце, как рассказывала мне мама, я впервые увидел при свете масляной лампы огромный мир и «осчастливил» его первым криком. В ту ночь шел снег, и мои родители восприняли это как хорошее знамение. К тому еще я появился на свет в рубашке. Правда большого счастья рубашка эта мне не

принесла, но, как говорят, слава богу. Много раз, в самые критические минуты моей жизни я мысленно обращался к своей «рубашке», в которую мои отец и мать фанатически уверовали, и рубашка меня выручала.

Места для колыбели в нашей комнатке под крышей не было, но мой отец всегда отличался изобретательностью: он откуда-то принес ящик из-под пива, привязал его канатом к крюку в потолке, и, я уверен, что сам Ротшильд в моем возрасте не лучше чувствовал себя в своей золотой колыбели в шелках, чем я в моем качающемся ящике из-под пива, завернутый в тряпье.

Работы в городе не было, и, чтобы как-то прожить, отец мой целыми днями бродил по улицам, ища какой-либо заработок. Что он только не делал! Был и уличным носильщиком, возил повозку с рыбой из Вислы, стеклянную посуду в лавку и даже покойников на кладбище. Вот с покойниками папе не повезло: у него появились конкуренты, и раз даже дело дошло до драки, во время которой каждый тянул мертвеца в свою повозку. Со стеклянной посудой также вышел конфуз; однажды ночью отцу приснилось, что он вез полную повозку со стеклянным грузом и вдруг колесо развалилось, тяжелая повозка перевернулась и драгоценная посуда разлетелась на кусочки. Мой отец во сне поднял такой крик, что все соседи сбежались. Обо всем этом позже с годами рассказывал отец как веселые истории и все в доме катались со смеху, но я себе представляю, как это все выглядело в действительности и что тогда перенес мой бедный отец, едва державшийся на ногах от голода и истощения.

Моя мать в молодости была очень энергичной женщиной. Тотчас после моего рождения, глядя на своего мужа-бедолагу, она нанялась в богатую семью кормилицей. Это немного облегчило положение, но ненадолго, потому что у мамы со временем уменьшилось молоко. Тогда мои родители по инициативе матери взялись за папиросное дело. Это было донельзя рискованное занятие, но на что не идет человек, когда голод царит в доме?

К сожалению, мои родители не годились в коммерсанты — они были рабочие по крови. После того, как на них донесли и в наш «дворец» пришла полиция с обыском, закончившимся, благодаря изобретательности мамы (она вовремя спрятала запас табака) благополучным исходом, папиросное дело прекратили. К тому времени закончилась война, и мои родители с двумя крошками на руках возвратились к себе домой в Лодзь, к своему занятию ткацким делом.

## Мой детдом

В три года меня вместе с братом отдали в детский сад. Это было детское учреждение, которое существовало на средства лодзинского ткацкого профсоюза, открывшегося недавно для детей рабочих-ткачей. В организации этого детского сада моя мать приняла активное участие, и в течение нескольких лет она была деятельна в его правлении. Для детского сада наняли помещение из трех больших комнат на втором этаже, окна которого выходили на площадь Балета.

Я отлично помню каждый уголок этого детского сада, который мы называли «детским домом» и он действительно был домом для детей рабочих, которые проводили там в более, чем скромных условиях, свое время с утра до вечера, окруженные истинной любовью чудесных воспитательниц.

Воспитательницами были женщины из зажиточных семейств, которые пришли к рабочему народу бескорыстно помогать в его тяжелом положении. Это были молодые красивые фанатички, которые отдавали нам, детям, свою душу. С этими благородными женщинами сохранилась теплые отношения на многие годы. Когда детсаду не хватало финансов на еду и игрушки, эти женщины выпрашивали у своих зажиточных родителей деньги, лишь бы дети не испытывали никакой нужды. Нередко они приносили из

дому одежду или пару ботинок для бедных детей, родители которых лишились работы.

Как дорогую реликвию храню я фотографию нашего любимого бедного детского дома, где между детьми сидят наши воспитательницы — учительницы Наха и Хана — так мы к ним обращались.

Два раза в неделю посещал наш детдом известный в городе педиатр, доктор Айхнэ, который также безвозмездно обслуживал детей. Это был высокий, полноватый нестарый еще человек в пенсне, от которого так и пахло чистотой. Собственных детей, как я узнал годы спустя, у него не было, и всю свою любовь он отдавал своим маленьким пациентам.

Мое знакомство с доктором Айхнэ закончилось большим конфузом. Еще сегодня я не могу об этом вспоминать без стыда. Случилось вот что: во время моего обследования, доктор обратил внимание на мой большой живот — признак английской болезни.

— Картошку любишь? — спросил он меня, голого.

— Да, очень.

— Я вижу, что ты пожиратель картофеля, — при этом он слегка стукнул меня по животу. Я это почему-то воспринял, как оскорбление, и ответил ему звонкой оплеухой по его пухлой щеке и тотчас же со страху убежал. Для доктора это было такой неожиданностью, что он на мгновение замер, как парализованный, а потом, когда пришел в себя, бросился по комнатам нашего дома вдогонку. Я искал спасение под маленьким столиком, но мой преследователь меня ловко вытащил оттуда и голого подвел к моей маме, которая как раз пришла забирать меня домой.

«Ваш дорогой сыночек вырастет убийцей». Если пользоваться терминологией, которая теперь в ходу относительно врачей, то наш доктор в своих пророчествах большой ошибки не допустил: я вырос и стал врачом.

В нашем детском доме, как правило, отмечали день рождения каждого. Наши воспитательницы старались изо всех сил, чтобы этот день остался как праздник в нашей памяти на долгие годы.

И они этого достигли. У нас дома редко справляли чей-то день рождения. Всегда в заботе и в хлопотах, в ежедневной погоне за хлебом насущным, нам было не до именин. Моя мама, даже когда я стал взрослым, всегда в такие дни, шутя, шлепала меня веником. Но однажды мне устроили такие именины, которые я никогда не забуду. И это было как раз в нашем детском доме.

Это был замечательно редкий день. Все дети пришли празднично одетыми. Меня — именинника — посадили на почетном месте у сдвинутых вместе столиков, и возле меня выросла целая гора подарков, которые дети сами, своими руками клеили и нарисовали. Учительница Наха мне подарила красивые кубики для составления разноцветных картинок, учительница Хана — повозочку с дышлом — игрушки, о которых я даже не мечтал. Эти игрушки сделали меня богатым, как короля, и служили мне не одну неделю, не один месяц и не один год. Всеобщее восхищение вызвало у детей, когда моя мама поставила на середину стола клетку и вынула оттуда двух маленьких белых кроликов — это был ее подарок. Эти кролики были самыми любимыми воспитанниками в нашем детском доме.

Если к этому всему добавить еще редкий для нас шоколад, который кухарка сама приготовила, и песни, и танцы в сопровождении скрипки слепого уличного скрипача Фишки, приведенного мамой в наш детдом, можно себе представить какой праздник у нас был.

Комический эпизод случился в детдоме с моим старшим братом. Не всегда наши родители имели возможность прийти за нами, чтобы отвести домой. В таких случаях мы присоединялись к другим детям, проживавшим в нашем доме. Но вот однажды, когда мои родители вечером вернулись с работы, выяснилось, что мой брат куда-то исчез. В тот день я пришел домой вместе с детьми младшей группы. Было уже темно. Куда делся мой брат, я не знал. Мои озабоченные родители не знали, где его искать. Отцу пришла в голову мысль, хотя было уже поздно, пойти в детдом. Я упрямил отца взять меня с собой, и мы пошли вместе. Поднимаясь по ступенькам

в детдом, мы слышали плач. Это плакал мой брат, который стоял закрытым с той стороны дверей.

На вопрос отца мой брат, давась от слез, рассказал, что он заснул под одним из столов и проснулся, когда никого уже в помещении не было, и еще он жаловался, что он очень голоден. Что делать? Ключи от детдома находились у заведующей, а она жила довольно далеко отсюда... Взломать двери, обитые железом, задача не из легких. Тогда отец, оставив меня на лестничной клетке, отправился искать слесаря. Отец оставил меня, чтобы я пока общался с братом, находящимся взаперти по ту сторону дверей. Я с ним разговаривал через щель в дверях, даже песенки ему пел. Очень скоро вернулся отец с плиткой шоколада в руках и сказал, что сейчас придет слесарь и откроет двери. Брат успокоился, но когда отец просунул в щель двери плитку шоколада, тот поднял такой крик и плач, что мы с этой стороны двери перепугались: что случилось? Шоколад поломался. Еще хорошо, что слесарь вскоре появился и опытной рукой освободил из плена моего многострадального брата.

Очень часто я прохожу мимо новых зданий современных детских садов, которые растут как грибы в новом районе, где я живу. Это чудесные дворцы, где играют красивые, сытые, одетые, как принцы и принцессы, ребяташки. Невольно всплывают перед глазами картинки моего далекого детского дома. Но, не боясь прослыть последним ретроградом, я скажу, что не променял бы мой бедный детский сад на самый лучший дворец наших дней...

## Двор

Наш дом на улице Александровской № 26, что в центре Балета, явно выделялся из окружающих домов. Это было пятиэтажное здание из красного кирпича в форме большого четырехугольника, который производил впечатление старой фундаментальной тюрьмы.

Население дома было колоритным как по национальному, так и по социальному составу. Большинство евреев, меньше поляков и несколько немцев. Владелец дома, или, как его по-другому называли, хозяин — пан Гендзелевский — происходил из польской шляхты, богатый владелец нескольких домов в Лодзи и поместья за городом. Это был круглый тип уже в годах, с гладкой, как бильярд лысиной, ослепительно блестящей на солнце, с маленькими острыми крашеными усиками, которые должны были сделать его моложе, чем он был на самом деле. Жил он на первом этаже в роскошной богато обставленной квартире, которая соседствовала с его пекарней и колбасным цехом, откуда всегда распространялись по всему нашему дому запахи, от которых текли слюни и кружилась голова.

За квартирной платой пан Гендзелевский сам ходил по дому со специальным кожаным кошельком на круглом животе, куда он клал деньги. Не дай бог не заплатить ему деньги вовремя! Он бывал в таких случаях безжалостным. Я помню, как он однажды среди белого дня выгнал из квартиры бедную вдову с двумя маленькими детьми прямо на улицу под открытое небо. В праздничные и воскресные дни наш хозяин одевал свой черный френч с блестящими отворотами, цилиндр, лакированные ботинки, и весь двор, кто с завистью, а кто с ненавистью наблюдал, как пан Гендзелевский выезжал из ворот на своей роскошной бричке, сидя на самом верху, держа вожжи маленькими ручками в белых перчатках, правя четырьмя огненными черными лошадьми. В бричке сидели две его дочери-красавицы, одетые в праздничные шелковые одежды. Они для меня светились как сказка с королевами и принцессами...

Жители нашего двора дрожали перед своим хозяином, но мы, дети, еще больше боялись сторожа, которого звали между собой «Будайдо-Будиди». Что это означало, я до сегодняшнего дня не знаю. Это был уже довольно пожилой поляк, хромой на одну ногу, его морщинистое лицо украшала редкая борода. Он носил тяжелые сапоги, на голове — летом и зимой — древний мятый картуз. Всегда злой, он нас, мальчишек, гонял, где бы мы только не игрались. Везде



мы ему мешали. Особенно он нас не допускал к помпе, где мы любили баловаться с водой и устраивали фонтаны, нередко он нас угощал своей тяжелой метлой и, несмотря на это, мы ему устраивали, мстя, различные пакости, после которых он совсем зверел.

У нас во дворе жили люди, которые занимались всеми ремеслами, какие только есть на белом свете: сапожники, портные, кожевники, ткачи, извозчики, уличные носильщики, шапочники, мастера делать расчески, базарные маклеры, мелкие чиновники, пекари, слесари, переплетчики, столяры, мясники, трубочисты, канатчики, не перечислить всех... Были среди них мелкие спекулянты, ученики иешив (высших религиозных школ), свахи, люди, занимающиеся таинственными делами, уличные воры и просто бездельники. Редко когда кого-нибудь во дворе называли своим собственным именем или фамилией. Каждый имел прозвище, которое чаще всего отражало его профессию, или какую-либо его особенность: Янкл-мясник, Ицик-портной, Авремл-горбун, желтый Мотл, черная Эстер, толстая Тойба и тому подобное.

Весь день во дворе стоял шум от детей и женщин, которые постоянно ссорились. Раздавался стук ткацких, слесарных и столярных станков, шум от лошадей и повозок и крики уличных торговцев, расхваливающих свои товары, которые громоздились у них на спине. Зимой жизнь во дворе становилась тише. Малые дети со своими мамками сидели по своим квартирам, и через закрытые замерзшие окна голоса и шум заглушались.

Мы, дворовая ребятня, в летнее время с самого раннего утра и допоздна, без усталости бегали по раскаленным крышам сараев, карабкались на стены, увлеченные разными играми, в основном, в цурки, пускали змей из разноцветной папиросной бумаги в небо, играли в «полицию и воров», переворачивая в длинных и темных коридорах нашего дома помойные ведра, стоявшие у дверей и распространявшие зловоние. Больше всего нам доставляло удовольствие перемахнуть через высокий кирпичный забор, отделявший наш двор от еврейского

кладбища, и оказаться на этом «старом хорошем месте», как все его называли.

Для нас, детей, это был настоящий рай. Многочисленные черные надгробия с надписями на древнееврейском языке, кроны рябин, высокие пахучие травы. После вонючих сточных канав и мусорных ящиков во дворе тут дышалось так легко, так свободно, что не хотелось оттуда уходить, и мы оставались там до первых звезд на небе. Тогда, наслушавшись рассказов о мертвецах в белых погребальных одеждах, выходящих по ночам из своих могил, мы перелезали обратно через забор во двор, забирались в цыганскую кибитку, которая почти всегда здесь стояла, и рассказывали истории, одна страшнее другой, и почти всегда в самые захватывающие моменты раздавались голоса мам, которые звали домой своих загулявших детей. Мы просились у них еще хоть на минуту, еще на одну... Меня звал в таких случаях домой мой старший брат. Но однажды мы против него подняли бунт: как это так? — он старший должен звать младшего (ведь должно быть наоборот — младший должен звать старшего)? Мама его отругала, и ему ничего не оставалось, как прекратить эти крики. Но это его не устраивало. Что он тогда делает? Он выходит из квартиры на лестницу, высовывается из коридора в окошко и кричит на весь двор изо всех сил: «Юма! Мама велела, чтобы ты в эту же минуту пришел домой кушать!!!» В кибитке у нас в ответ раздается хохот, и со смехом мы расходимся, все нехотя, к себе домой.

После школы мы, мальчики, катались на коньках, сделанных нами самими: выстругивали из деревяшек и привязывали их шнурками к ботинкам, или катались с большим удовольствием на примитивных санках, сбитых из нескольких дощечек, с «Синай-горы» — так у нас, мальчишек, называлась горка на Александровской улице, начинавшаяся от разрушенного еще со времен Первой мировой войны немецкой шрапнелью дома № 14. Во дворе этих руин находился ближайший к нам хедер, и, должно быть, название «Синай-гора» придумали сами его ученики, впитавшие

в себя библейские легенды о пророке Моисее и горе Синай. Мы, ученики обычной школы или гои, как нас называли во дворе, нередко заглядывали в окна хедера и наблюдали через стекла, как бледные ученики с длинными пейсами и цицес и традиционных еврейских шапочках — кипах — протирали штаны на скамейках над толстыми молитвенниками, и желтый ребе с плеткой в руке время от времени клевал носом и дремал.

Мальчики из хедера с завистью смотрели на нас, свободных птиц, а мы делали им глупые гримасы, дразнили их. Ребе же мы доводили до белого каления; он, разъяренный, с плеткой в руке выбегал во двор и гнался за нами. Но кто нас мог догнать? Зато ученики хедера имели большое удовольствие, глядя на беспомощность своего ненавистного повелителя.

Самые печальные дни у нас во дворе наступали осенью, когда лили дожди. Резиновых галош у нас не было, босиком ведь не пойдешь — и мы сидели дома, или ходили друг к другу в гости, переворачивая комнату вверх дном, выдумывали разные игры или иногда вместе пели песни. Самая любимая песня у нас, мальчиков, была песня о пожарниках, которых мы буквально обожествляли. Мы бывали на всех пожарах, которые время от времени вспыхивали в нашем или соседнем районе. Каждый пожар для нас, детей, был праздником. Мы не могли оторваться от пламени, которое выбивалось из окон, ловких пожарных, которые нас приводили в восторг. Как на крыльях летели они на своих огненных лошадиных упряжках по брусчатке со звоном медных колоколов, и каждый из нас мечтал, как только он вырастет, стать пожарником.

Играя однажды в пожарников, наша дворовая ребятня чуть не сделала большой пожар. Это было на зеленой лужайке — кусочке поля в Балете, где заканчивалась улица Файфера-Файферувка — улица, на которой жила еврейская беднота города и среди них преступный мир: воры, мошенники, проститутки и т. д. Детвору туда тянул небольшой кусочек поля, где она могла свободно побегать, поиграть в футбол мячом, сшитым из старого чулка и набитым

тряпками. На зеленую лужайку выходила одной стеной и деревянным забором бондарная, где стояли целые пирамиды бочек. Вот здесь возле забора наша футбольная команда решила разжечь большой костер из дощечек и засохших вещей. День был ветренный, и огонь быстро перекинулся на забор, загоревшийся с треском сухих досок. Один из рабочих это заметил и поднял тревогу. А мы, поджигатели, со всех ног разбежались кто куда. Несколько дней мы боялись появляться на зеленой лужайке, а когда через неделю туда пришли, увидели полуобгоревший повалившийся забор.

Большинство жителей нашего двора были, как я уже сказал, евреи. Вообще весь Балет в те времена представлял собой обособленный от города квартал гетто со своим своеобразным колоритным устройством, и хотя здесь господствовал еврейский образ жизни с еврейским языком, с еврейскими мастерскими, хедерами, средними еврейскими школами, синагогами, евреи всегда все делали здесь со скрытой настроженностью и боязнью. Наверно, еще не были вычеркнуты из их памяти погромы после первой русской революции в 1905 году. Взаимоотношения между еврейским и польским населением были натянутыми. Правда были поляки, в основном участники прогрессивного рабочего движения, которые были выше националистических и шовинистических предрассудков. Такие очень тепло относились к своим соседям евреям и нередко их защищали и им помогали. Так, я помню, к нам в дом заходил польский коммунист Лутбах, которого мои родители боготворили.

Национальный антагонизм, который существовал среди взрослых, по понятным причинам передавался детям, и эта уродливая обособленность нередко приводила к конфликтам, которые возникали на чисто национальной почве. В моей памяти осталось немало таких случаев. Так, на моих глазах разразилась настоящая битва между старшими учениками нашей школы и учениками соседней польской школы. Я помню, как во время летних каникул организовали для неимущих учеников «полуколонию» для

отдыха, где дети получали два раза в день еду и проводили там время с утра до вечера. Причем еврейские мальчики отделялись от польских мальчиков в отдельные отряды. Даже в трамвае, который каждый день отвозил детей из города в колонию, один вагон занимали польские ученики, другой — еврейские. Первый вагон пел польские песни, второй — еврейские, и каждый из них хотел перепеть другой! Получалась дикая какофония! Спортивные состязания также проходили в национальном составе — поляки против евреев, и нередко заканчивались дракой на спортивной площадке. Бывали моменты в наших взаимоотношениях с польскими мальчиками во дворе, когда мы становились лучшими друзьями и между нами устанавливались братские взаимоотношения. Такое происходило чаще всего в пасхальные дни, когда между нами возникала оживленная торговля-обмен: мы давали мацу, а получали за это от польских ребят пасху.

Моим родителям, сколько я их помню, было чуждо чувство национализма. Наоборот, они всегда проповедовали равенство наций и были с головы до ног интернационалистами. Наряду с этим, они с болью переживали заклятый антисемитизм, который так заботливо насаждало польское правительство по лучшим образцам русского царизма.

До последних моих дней я не забуду дикий случай, который произошел в мои неполные семь лет и, как я думаю, сыграл не последнюю роль в том, что мой отец бежал из Польши. Однажды, я не помню из-за чего, я повздорил с польским мальчишкой моего возраста. Он от меня удрал, и я его преследовал, пока тот не выбежал со двора на улицу и, ища защиты, спрятался за спину рослого польского парня, торговавшего папиросами. Я лишь успел схватить моего противника за рубашку, как торговец папиросами с силой прижал папиросу к моей голой руке. На мой душераздирающий крик собралась порядочная толпа, как из-под земли появился мой отец. Он схватил за руку хулигана и хотел отвести в полицию. Но тут возникли несколько здоровых поляков, которые схватили парня за другую руку

и, желая его вызволить, стали тянуть его к себе. Тут подбежали к отцу несколько евреев, которые хотели помочь отцу задержать злодея. Поднялась страшная возня и шум, пересыпанный грязными польскими выкриками. Один из хулиганов схватил моего отца за шею, другой бросился с кулаками на соседа, и я не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не появился полицейский, который своим свистком и голосистым басом остановил драку. С мертвенно бледным лицом и дрожащим голосом, указывая на мою обожженную руку, отец мой апеллировал к стражу закона. Тот равнодушно посмотрел на мою руку, мол, стоило поднимать такой шум из-за такой глупости и собирать столько народу? Он слегка взял за ухо продавца папирос и вытолкнул его из толпы. Тот скоро исчез. Тогда он своим басом приказал всем разойтись.

К одним из ярких воспоминаний, которое уходит в детство, относится моя политическая деятельность в капиталистической Польше, к которой я присоединился за три месяца перед тем, как переехать в Россию к отцу. До тех пор я слышал много взрослых разговоров и споров о различных политических событиях и проблемах, из которых я уяснил для себя тогда вполне ясную платформу: на свете живут богатые и бедные, которые ненавидят друг друга. В моей детской фантазии я часто видел, как взрослые и дети, поляки и евреи, все люди на земле живут счастливо и в мире, потому что так я устроил моей выдуманной волшебной палочкой.

Ближе к политике я пристал в дни выборов в сейм, когда город кипел партийными страстями. Вместе с моими дворовыми товарищами я бродил по открытым площадям, где кричащие ораторы призывали отдать голоса за свои партии. Мы собирали листовки с различными номерами (каждая партия имела свой номер), которые сыпались на улицы, как снег, и, подражая партийным функционерам, распространявшим между прохожими свои избирательные списки, всовывали листовки всех партий в руки мужчин и женщин. Я помню даже, как преподнес избирательный лист

оратору, которого я увидел на трибуне на велодроме. Я его узнал из-за исключительной красоты и седоватой бороды, он, должно быть, возвращался, в окружении своих сторонников, с митинга. И надо же было так случиться, что бюллетень, который я ему подал, был списком кандидатов его партии. Я тотчас же это понял, потому что оратор остановился, вынул из кармана гривенник и погладил меня по голове: «Купи себе, мальчик, пирожное». Как я позже узнал, это был сам Зрубовл — лидер партии Поалей Цион.

Через короткое время в городе стали распевать песенку, сочиненную кем-то и посвященную результатам выборов. Песенка представляла собой сатирический диалог ребе с его учениками. Я привожу по памяти начало этой песни.

— Мальчик, мальчик, какая буква у нас по порядку?

— А (Алеф).

— Что означает «А»?

— Ай, ай, ай.

— Еще пример?

— Головой в землю.

— Ну, а теперь, детки, все вместе (хором): ай, ай, ай.

— Головой в землю.

— Мальчик, мальчик, какая следующая буква?

— Бе (Бейс).

— Что значит Бейс?

— Бунд<sup>1</sup>.

— Еще пример!

— Похоронен (багробн).

— Давайте, детки, все вместе: Бунд похоронен, ай-ай-ай головой в землю.

— Мальчик, мальчик, какая следующая буква?

— Гэ (Гимл).

— Что означает Гимл?

---

<sup>1</sup> Бунд — Всеобщий союз еврейских рабочих в Литве, Польше и России, еврейская социалистическая партия в России, позже в Польше и США. Основана на нелегальном съезде в Вильно в октябре 1897 года.

- Злодеи (газлоним).
- Еще примерчик?
- Гэвалт! (спасайте)
- Пойте дети все вместе:  
Гэвалт газлоним  
Бунд багробн,  
Ай-ай-ай  
Головой в землю!
- Мальчик, мальчик, какая идет буква по порядку?
- Вэ (Вов).
- Что означает Вов?
- Виктор (Виктор — имя партийного лидера, который потер-  
пел поражение на выборах в сейм)<sup>1</sup>.
- Еще примерчик?
- Плачет (вейнт).
- Говорите все вместе, дети:  
Виктор вейнт  
Гэвалт газлоним  
Бунд багробн  
Ай-ай-ай ин дред арайн.
- Мальчик, мальчик, какая следующая буква?
- Зэ (заен).
- Что означает Заен?
- Зрубовл.
- Еще пример?
- Поет (зингт).
- Так давайте же детки все вместе:  
Зрубовл зингт,  
Виктор вейнт,  
Гэвалт газлоним,  
Бунд багробн,

---

<sup>1</sup> Виктор Альтер — видный деятель Бунда, один из создателей Международного еврейского антигитлеровского комитета.



Ай-ай-ай ин дрерд арайн.

И так далее, до конца азбуки.

Теперь можно себе представить, как я гордился, что сам Зрубовл<sup>1</sup> дал мне гривенник на пирожное. Но это все относится к детскому баловству.

К моему сознательному шагу можно отнести вступление летом 1928 году, за пару месяцев до нашего отъезда из Польши, в подпольную пионерскую организацию в Лодзи.

Впервые я услышал слово «пионер» от моего товарища Меира Шарфала, о котором я уже в одном месте упоминал. Это был веселый отчаянный паренек, который всех знал, все знал, и которого все знали и уважали. Меир был старше меня на пару лет, но от этого не зазнавался. Наоборот, он ко мне относился, как к ровне, и каждый раз при наших встречах говорил мне, как он мне завидует, что я скоро уеду к отцу в Советский Союз. Он мне рисовал эту страну в самых ярких красках, как будто он там прожил много лет, а уж если Меир говорил, то не поверить ему было нельзя, потому что из него прямо-таки сыпались знания.

Однажды Меир таинственно предложил мне встретиться завтра, в субботу, рано утром на площади Балета. В ответ на мои вопросы он многозначительно дал понять, что я не пожалею, но что никто не должен знать о нашей предстоящей встрече. Я ему обещал. Этот прекрасный субботний день я помню, как будто это было вчера. В назначенное время и в назначенном месте меня уже ожидал Меир. Он меня отвел в сторону, где никто нас не мог подслушать, и без каких-либо предисловий спросил меня, хотел бы я стать пионером? На мой вопрос, что это такое, Меир скороговоркой объяснил мне все в своей красивой манере выражаться, и через несколько минут я уже знал, что пионеры это маленькие коммунисты, которые помогают своим старшим товарищам в борьбе за свободу против буржуев и стремятся к коммунизму.

---

<sup>1</sup> Зрубовл (Виткин) Яков (1886, Полтава, — 1967, Тель-Авив), один из лидеров сионистской рабочей партии Поалей Цион. Публицист. Писал на идише.

Эти слова для меня звучали, как новые, и многие из них я не понимал, и все же речь Меира нашла во мне отзвук, и я уже готов был отдать свою жизнь в борьбе за рабочее дело... Разумеется, я без малейших колебаний дал свое согласие вступить в пионерскую организацию. Меир взял с меня слово, что никто не должен об этом узнать, если я не хочу попасть в руки полиции и предать организацию, и ввел меня в строгие правила конспирации. Потом он взглядом показал мне на рассеянные тут и там кружки мальчишек и девчонок, которые как бы баловались на площади, не вызывая ни у кого подозрения, давая понять, что это свои — пионеры. Меир очень вырос в моих глазах, и я проникся к нему еще большим уважением. Вскоре я заметил, что кучки мальчишек и девочек понемногу начали двигаться по направлению к Александровской улице, где мы раньше жили. Их марш в абсолютном беспорядке выглядел, как прогулка неорганизованных ребят, и не привлекал к себе ничего внимания. Мы с Меиром были последними. Я никак не мог понять, кто руководит этой конспиративной прогулкой, как будто все происходило само собой. Спросить об этом своего товарища я не посмел. Из его слов я понял, что надо поменьше спрашивать. Шли мы очень медленно до тех пор, пока не вышли из города. Хотя и был конец лета, солнце еще довольно высоко стояло в небе и своими жаркими лучами оно изрядно нас припекало. Поэтому мы очень обрадовались, когда вошли в лес под прохладную тень высоких сосен.

Немного отдохнув, мы пошли дальше вглубь леса, спустились в зеленый яр, который был закрыт со всех сторон густыми кустами и где посторонних не было. Тут все дети собрались в круг, и лишь теперь я заметил двух взрослых: высокого стройного молодого поляка с копной вьющихся русых волос на голове и невысокую, ростом с девочку, женщину, которая немножко прихрамывала. Меир назвал мне их имена — это были молодые коммунисты — пионервожатые. Они подозвали несколько старших ребят. По взглядам между ними и Меиром, устремленным в мою сторону, я догадался, что речь идет обо мне.

После короткого совещания они выставили во всех концах патрули, которые обязаны были в случае, если кто-то чужой приблизится к долине, дать знать об этом. Меир же возвратился ко мне. В середину круга вышел стройный поляк. Сразу же стало тихо и по его знаку все хором запели по-польски пионерский гимн «взвейтесь кострами», который, как позже я узнал, написал поэт Александр Жаров. Лица у всех стали серьезными и глаза засверкали фанатичным огнем. Я песню слышал впервые и чувствовал себя неудобно, что не могу петь вместе со всеми. Сразу же после гимна началось собрание, на котором меня и еще нескольких ребят приняли в пионерскую организацию. Маленькая пионервожатая вынула из своей сумки сложенное красное знамя, и мы торжественно поклялись быть достойными борцами за коммунизм. Потом выступили пионервожатые и несколько пионеров, но среди них выделялся мой товарищ Меир, говоривший с энтузиазмом, как настоящий оратор.

Я не помню содержания речей, так как был сильно взволнован и весь переполнен происходившим вокруг меня. Собрание закончилось повторным исполнением пионерского гимна и тут я понемножку, еще несмело, стал подпевать хору. После этого в нашем кругу появились две девушки постарше с кошелками и стали всем раздавать бутерброды с колбасой. Проголодавшись за долгое время на свежем воздухе, мы в одно мгновение проглотили угощение. На душе стало немного уютней, и лишь теперь каждый показал, на что он способен. До конца дня мы были в лесу, пели и смеялись, баловались и шалили. Я был в восторге, что все мы вместе, евреи и поляки, создали одну дружную семью, и был счастлив, что я стал членом этого нового чудесного союза. Я сразу стал взрослее и серьезнее и сам вырос в собственных глазах.

Возвратился я домой, когда уже было темно и, разумеется, избежать взбучки от мамы не удалось. На все ее вопросы, где я пропадал целый день, я отбивался разными выдумками, но моя мама была не из тех, кого можно было провести, и я, в конце концов,

признался. Моему признанию способствовало то обстоятельство, что мне стала известна мамина симпатия к коммунистической партии. Она с интересом выслушала мой рассказ о нашей прогулке в лес, строго предостерегла меня быть осторожным, а перед сном рассказала мне, как она во время первой русской революции, когда ей было двенадцать лет, носила в специально пошитом для нее пальтишке с подкладкой на пуговицах, прокламации из подпольной типографии в конспиративную квартиру. Ее рассказ глубоко запал мне в душу, и я, в пятнадцать лет, уже проживая в Советской России, написал об этом рассказ, который был издан отдельной красивой книжкой харьковским еврейским издательством под названием «Пальтишко». Имя героини в этой книжечке — Минделе — это имя моей матери, ее звали Сара-Миндл.

## Моя первая школа

В Лодзи, где проживало многотысячное еврейское население, в городе с европейской культурой, были всего две светские еврейские школы. Сионистская и бундовская. Подавляющее большинство еврейских детей училось в многочисленных грязных хедерах и талмуд-торах под надзором плетки ребэ. Мои родители никогда не были сторонниками религии, сионизма и бундизма. Они всегда были противниками ограниченного еврейского национализма и с самого детства внушали нам, детям, отвращение к националистическим идеям. Но, как гласит русская пословица: «Из двух зол выбирают меньшее». По-еврейски это значит: разве есть другая возможность? Мы посещали бундистскую еврейскую школу, которая находилась в центре города на улице Цегляной, 17, напротив еврейского «Скала-театра».

Это было четырехэтажное красивое здание с высокими светлыми классами, образованными по большей части педагогами, которые всей душой были преданы своему призванию. До

нашего отъезда в Россию я успел окончить первые три класса. Эти три школьных года были насыщены различными событиями, большинство из которых с годами выветрилось из моей памяти, и остались лишь некоторые из них. Я совершенно ясно помню первый день, когда я отправился в школу. Отвел меня туда мой старший брат, который перешел уже во второй класс. Одет я был в новый костюмчик с сумкой через плечо. Во мне все пело от радости, я почувствовал себя совсем взрослым; мне казалось, что все прохожие на меня смотрят.

С Александровской улицы до Цегляной, где находилась школа, было порядочное расстояние. Надо было перейти площадь Балета, Згоржевскую улицу, где стояла самая высокая церковь города, потом выйти на центральную площадь Свободы, а оттуда уже недалеко до Цегляной улицы. Дорогу я почти не заметил, так как был погружен в свою новую роль ученика и послушно следовал за моим братом.

Правду говоря, я уже не помню, как прошел этот день в классе. Но зато у меня в памяти осталось до малейших подробностей то, что связано с моим возвращением из школы домой. Проходя вместе с братом через Центральную площадь, я нашел на земле жестяную коробочку из-под чая с разноцветными рисунками на стенках. Моему брату она очень понравилась, и он пожелал, чтобы я ее ему отдал. Мне было жаль расставаться с коробочкой, и я ему отказал. Слово за слово мы поссорились, и мой брат решил меня наказать: он меня оставил одного на чужой для меня городской площади и исчез. Я не очень испугался, потому что с площади хорошо видны были высокие купола с крестами церкви на Згержской улице, а от церкви дорога домой мне была хорошо знакома. Мне даже импонировало то, что я остался один без надзора, и я имел возможность, сколько мне хотелось, наблюдать шумные широкие улицы, которые так отличались от наших бедных улочек в Балете... Как-нибудь сам дойду, и я твердым шагом оставил городскую площадь и вышел на Пиотрковскую улицу — главную улицу города, где я еще ни разу не был.

Тут моим глазам открылся новый мир: красиво одетые люди, роскошные автомобили, фаэтоны и огромные разукрашенные стеклянные витрины магазинов, из которых улыбались манекены таких симпатичных дам, господ и детей. У каждого окна я останавливался и с любопытством рассматривал красивые одежды, мягкую мебель, посуду и другие вещи. Но самое большое впечатление на меня произвела та витрина, где были выставлены игрушки для детей. Чего только там не было... Вот лежат блестящие коньки... Ах, если бы я имел такие вместо деревянных, которые я привязывал шнурками к ботинкам! Какой футбольный мяч! Это тебе не мячи, набитые тряпками! А велосипед на трех колесах... Ну, а красный автомобиль с голубыми колесами?! Это ведь совсем чудо, можно ведь туда сесть, крутить ногами педали, по-настоящему ехать... Я буквально не мог оторваться от всего этого. Я забыл о школе, о доме, об отце с матерью. Неужели есть на свете такие люди, которые все это могут купить? Нет, это невозможно! Это просто выставка... Не знаю, сколько времени я еще стоял бы здесь, если бы на окно не опустили решетку, подобно гармошке. Это уже закрывали магазин, и я словно проснулся.

Я посмотрел в сторону церкви: да, вот светятся озолоченные лучами заходящего солнца кресты на ней, это значит, я на верном пути и вскоре буду дома и всем расскажу, какое чудо я только что увидел! Так я шагаю себе и шагаю все дальше и дальше и даже не замечаю, что красивая и широкая улица закончилась, и я нахожусь уже на совсем другой улице с низкими домами и заборами... Я, однако, не могу понять: я ведь ясно вижу кресты церкви, правда, вместо того, чтобы приблизиться ко мне, они как-то отодвинулись совсем в другую сторону. Я стал беспокоиться и начал сомневаться, правильным ли путем я иду?

День уже клонился к концу, а я все иду и иду и чем дальше, тем более странным становится для меня окружающее: одноэтажные домики с садами, очень мало людей вокруг и вдруг... я обнаруживаю, что кресты церкви исчезли... Я остановился и начал плакать.

Тут меня окружили люди, в большинстве своем польские женщины, и стали спрашивать, что случилось, откуда я, но я не мог говорить, слезы душили меня. Подошел ко мне еврей с короткой бородкой: «Откуда ты, мальчик?» Я сквозь слезы назвал свой адрес. Еврей от удивления свистнул. «Как ты попал сюда?» Я не знал, что ответить и продолжал плакать. Тогда еврей взял меня за руку: «Не плачь, мальчик, идем со мной, я тебя отведу к папе и маме». Его голос был очень ласковым, и я доверчиво пошел с ним. Он ввел меня в низкий флигелечек, где он жил и занимал две маленькие комнатки.

Стол с гладильной доской и утюгом в передней комнатке, незаконченные одежды на вешалках свидетельствовали, что здесь живет портной. Во второй комнатке, на широкой деревянной кровати игрались двое маленьких деток с курчавыми головками, похожие один на другого, как две капли воды — близнецы. У столика возилась чернявая симпатичная молодая женщина. Мое появление она встретила с любопытством, но когда портной рассказал ей, что я заблудился, подошла ко мне и, кивая головой, начала меня гладить и успокаивать. Дети, счастливые, что у них в доме появился гость, слезли с кровати и начали хвалиться передо мной своими игрушками. Я стоял осиротевший и время от времени всхлипывал.

Жена портного усадила меня за стол, но я даже не притронулся ни к картошке, ни к поджарке, хотя с самого утра у меня не было даже крошки во рту. Пока же настал вечер, и мне становилось все горше на душе. Я хотел побыстрее вырваться из чужбины и возвратиться домой. Портной наскоро перекусил, и мы вышли на улицу. Долго и молча мы шли по темным улочкам до тех пор, пока не пришли к трамваю это была последняя остановка за городом. Всю дорогу я боялся, что дома ожидает меня порка от родителей за мое путешествие. Но как я был «разочарован» что ничего подобного не случилось. Но об этом дальше.

Поздно ночью, когда портной привел меня домой, отец с матерью бросились меня целовать, чуть не задушив в своих объятиях.

Они встретили меня как Мессию, который спустился к ним с неба. В эту ночь я, счастливый, спал в своей собственной кровати под теплыми крыльями отца с матерью. Так закончился мой первый школьный день. Как я позже узнал, я заблудился аж в Хойне, пригороде Лодзи.

До нашего отъезда в Россию я успел закончить только три класса. Кроме первого дня в школе, в моей памяти осталась моя учительница в третьем классе. Ее фамилия была Копельман. Ее имя я не помню, но зато стоит у меня перед глазами как наяву ее образ. Женщина средних лет со злыми сверкающими глазами за стеклами пенсне на остром носике и длинными шоколадными ногтями на пальцах, остроту которых она не раз испробовала на щеках своих учеников. Также и я не был исключением.

В один из весенних дней случилось следующее. Только что открыли окна в нашем классе. Во время большой перемены мне захотелось продемонстрировать всем мою отвагу и героизм, и я перед изумленными глазами всего класса и прохожих вылез в окно на четвертом этаже, прошел несколько шагов по узкому карнизу и перелез на балкон. В самый последний момент, когда я уже закончил мой цирковой номер и готов был сорвать аплодисменты, в класс с истерическим криком вбежала учительница Копельман. Она подбежала ко мне на балкон, и я в одно мгновение почувствовал, как ее наманикюренные ногти вонзились со всей их остротой в одну щеку и сразу после этого, как выстрел, раздался удар в мою другую щеку. У меня потемнело в глазах, и я почувствовал как теплый ручеек сразу же потек из моего носа. Это случилось так неожиданно, что мой палач должно быть сам перепугался, и в следующую минуту она уже усадила меня за парту, приподняла кверху мою голову и приложила свой надушенный платочек моему носу. В классе стояла мертвая тишина...



## Театр

У нас в доме по вечерам за стаканом чая часто собирались друзья родителей и вели шумные разговоры, спорили, смеялись. Но мне больше нравилось, когда все вместе пели еврейские и польские песни, одну другой лучше. Я почти все эти песни знал наизусть, но петь почему-то стеснялся, хотя мне очень хотелось принять участие в хоре.

Особенно выделялся в этом отношении друг моего отца Бендит — тоже ткач, который когда-то служил в царской армии и привез оттуда прелестные русские песни. Он вкладывал в это пение всю душу и с неподдельным талантом передавал красоту далеких русских лесов и полей, страдания солдат, слезы матери, чей сын пал на поле боя. Во время пения Бендит закрывал глаза и опирался щекой на руку, он весь уходил в свою песню; все вокруг него тогда тихонько подпевали, а у меня в горле застревал ком.

Нередко у нас дома декламировали стихи и разыгрывали театральные сценки. Моя мама была большим мастером рассказывать народные сказки. Она делала это с естественной непосредственностью, добавляя при этом что-то от себя, так что трудно было определить, откуда эти сказки взяты. В более поздние годы некоторые из ее сказок и песен я записал на магнитофонную ленту, и каждый год в день ее смерти я слушаю ее красивый голос, который вызывает у меня столько воспоминаний и добрых чувств... Но об этом в другой раз.

Отец мой был уверен, что мама прирожденная актриса. Я помню, как все помирали со смеху, когда моя мама представляла, как женщины разного сословия и возраста тушат свечи. Она задувала свечи с различными гримасами и разными способами. Так, в одной из сценок, она в облике простой рабочей девушки входит в комнату и двумя пальцами тушит свечу. В другой сцене мама вроде как пошла к соседу,

возвращается оттуда через несколько минут... Но что это такое? Вместо нее в комнату входит красивый кавалер, одетый в элегантный костюм с красивым галстуком, в вельветовой шляпе на голове, играя тоненькой тростью в руке. На мгновение в доме все умолкло. Но при первых же словах, которые произносит «кавалер», присутствующие узнают в нем мою маму. Раздаётся такой хохот, что огонек в лампе начинает метаться и дрожать.

Кто-то заметил, что мама могла бы играть в театре. Для меня это слово было незнакомо. Отец объяснил мне, что театр это такой большой дом, где горит много лампочек, играет музыка и переодетые люди в чужих костюмах поют и танцуют, как мама. Мне это трудно было себе представить, хотя я и кивал головой, будто я все понял... Но с того вечера я все время приставал к папе, чтобы он пошел со мной в театр, уж очень таинственным все это казалось. Отец мне обещал и слово свое сдержал.

То, что я увидел, было для меня, как чудо, как прекрасная сказка. Мы сидели на последней скамейке на галерке в Лодзинском еврейском театре. Не знаю почему, его короновали названием «Скала-театром». Играли тогда «Румынскую свадьбу». Когда открылся занавес, я никак не мог понять, куда я попал и что представляет собой сцена — явь или сон. Чарующие звуки музыки еще больше затуманили мой детский мозг, и я боялся, что проснусь и все происходящее исчезнет. Маленькие человечки на сцене, декорации и разноцветные лучи прожекторов, музыка — все это мне еще долго снилось в мои детские ночи и еще сегодня стоит у меня перед глазами.

Когда я стал немножко старше, я сам начал импровизировать игру в театр: переодеваясь в различные одежды и с деревянным оружием в руках, я представлял разных героев. Особенно я продемонстрировал свой талант на празднике Пурим<sup>1</sup>. Вместе со своим товарищем Иццоком, у которого всегда висела под носом светлая

---

<sup>1</sup> Пурим — еврейский праздник в память об освобождении евреев Персии.

«капелька», мы представляли: я — царя Артаксеркса<sup>1</sup>, а Ицхак — Гомона<sup>2</sup>, при этом мы мазали наши лица сажей и «гастролировали» в домах на нашей улице, где мы честно зарабатывали вкусные пряники, конфеты и несколько монет. Но это все было не более чем детская игра. Я всегда мечтал сыграть в настоящем театре со сценой, занавесом и декорациями.

Хорошо помню, как после прочтения книги Шолом-Алейхема «Испорченный Пейсах» мне пришла в голову мысль сыграть эту вещь на сцене. Эта мысль не давала покоя. Она меня так захватила, что однажды в школе во время уроков я не услышал, как учительница меня что-то спросила; я, конечно, не мог ответить и заслужил от нее пару крепких оплеух, на которые она не поскупилась в своем воспитательском рвении... Но это меня не остановило. Наоборот, это мне придало еще больше охоты осуществить свою мечту.

По дороге из школы домой я поделился своей театральной идеей с моим другом Менделем Либерманом, который жил недалеко от меня, и тот тотчас же с восторгом ухватился за мой план. На завтра мы оба развернули такую бурную деятельность, что, дай бог, хоть десятая часть этой энергии выпала бы мне в настоящее время.

Прежде всего, мы написали разноцветными карандашами на кусках бумаги входные билеты, где были написаны номера рядов, места в зале и их цена — пять грошей. И представьте себе, что за два дня мы реализовали между нашими учениками и среди ребят нашего двора порядочное количество билетов. Кассиром был Мендл, который гордо позвякивал монетами в кармане. Потом мы с помощью полдюжины ребят перенесли из квартиры Менделе ко мне домой огромную оконную ставню, которая валялась на чердаке у моего товарища. Эту ставню мы положили на несколько табуреток в углу нашей треугольной комнаты, натянули два одеяла на канат и сцена была готова. Зал мы обставили ска-

<sup>1</sup> Ахашверош — царь Персии.

<sup>2</sup> Аман, Гомон — согласно свитку Эстер, Аман был высшим сановником персидского царя Ахашвероша. Из ненависти к еврею Мордехаю, единственному при дворе освобожденному от обязанности падать ниц перед царем, Аман решил уничтожить всех евреев.

мейками, которые я выпросил у соседей, и к нашему большому удовольствию, наш «иллюзион» превратился в оригинальный театр. Но самое примечательное в этой истории было то, что мы, артисты — Мендл и я — ни единого раза не репетировали пьесу, мы вообще не знали, что представление надо репетировать...

Когда наши зрители заполнили «зал», мы с Менделе переоделись за закрытым занавесом. Он должен был играть портного Израиля, а я сапожника Гедали. Я, как главный герой пьесы, надел на себя пиджак, вывернутый наизнанку, обул пару старых сапог, которые одолжил у нашего соседа Шлойме-извозчика. Мендл наклеил на лицо бороду с пейсами, которые мы сделали из ниток, и мы были готовы начать представление, не имея перед собой даже примитивный сценарий, но будучи уверены, что мы будем играть и говорить так, как это написано в рассказе Шолом-Алейхема.

Три сигнала нашего импровизированного звонка — и занавес поднимается. Увидя на сцене таких странно одетых «артистов», зал разразился таким хохотом, что мы с Менделе растерялись и остановились, как два чучела, не зная, как начать спектакль. Я таки не знаю, как бы мы играли при таких обстоятельствах, но выручил нас мой старший брат. Мы еще не успели открыть рот, а зрители перестать смеяться, как в наш театр ворвался мой старший брат, кинулся к сцене и без всякого предупреждения сорвал занавес, так как я без его разрешения повесил его одеяло. В зале началось светопреставление: публика с шумом вскочила с мест, начала требовать возвращения денег, крича, что они заплатили за билеты, что наш театр никакой не театр, что их всех просто обманули. Когда Мендл отказался выполнить их требование, несколько мальчиков его окружили, сорвали с него бороду и пейсы и, угрожая, принялись за его звенящий карман. Выхода не было, и мы вынуждены были возвратить все до гроша.

Вот так закончилась моя карьера артиста и антрепренера.

## Моя новая школа

В 20-30-х годах в Харькове было четыре еврейские школы. Для меня и моего брата отец выбрал 45-ю семилетнюю школу. Во-первых, эта школа была ближе всех от нашего дома, хотя расстояние до нее было довольно порядочное — около 3-х верст. Во-вторых, об этой школе шла хорошая молва и там учились дети друзей моих родителей.

Очень хорошо помню, как отец нас, меня с братом, впервые отвел в школу. Это было зимой, и мы были одеты в наши лучшие одежды, которыми нас мама обеспечила перед выездом в Россию. В таком виде мы предстали перед учениками, которые нас окружили и глазели на нас, как на заморское чудо. В основном они удивлялись, что мы, десяти-двенадцатилетние мальчики, носим на пальцах золотые колечки.

Эти колечки составляли все золото, которым располагала наша семья. Наша мама еще в Лодзи отдала на переплавку два обручальных кольца, отцовское и свое, на четыре колечка — для всех членов нашей семьи. При этом на всех тоненьких изящных колечках были маленькие листочки-монограммы с выгравированными инициалами: отца с матерью на моем и брата колечках, и инициалы брата и мои — на колечках наших родителей. Но с этим украшением мы должны были расстаться уже на второй день посещения нашей школы. Директриса школы дала понять моему отцу, что не подобает детям школьного возраста и, тем более пионерам, носить золотые колечки. Двумя годами позже во время голода мои родители отдали все колечки (все семейное золото!) в торгсин за... один пуд пшена...

Что же касается нашей одежды, так мы ее также очень скоро сменили на более простую, чтобы не выделяться между другими учениками, которые в те времена одевались очень скромно. Кроме того, на второй день учебы в новой школе из кармана моего кобушка в гардеробе выкрали отличные кожаные перчатки на белом меху...

Так как я целых три месяца перед переездом в Харьков пропустил учебу в лодзинской школе, мне нелегко было включиться в новую программу третьего класса. Но это была небольшая беда. Хуже было с языком. Несмотря на то, что все уроки в школе велись на идиш и все учителя с учениками общались только на идиш, все учащиеся между собой говорили только на русском, и я не понимал ни слова. Правда, мои новые товарищи, мальчики и девочки, понемножку учили меня русскому, но нередко при этом меня обманывали и пополняли мой лексикон грязными незнакомыми словечками, которые в моем произношении вызывали смех у мальчишек и покраснение щек у девчонок...

И все-таки я понемногу и, можно сказать, довольно быстро преодолел языковой барьер, то есть я начал так бойко «выдавать» такой русский, что только лишь за это мне симпатизировали окружающие, забавлявшиеся мною, и относились к моему произношению снисходительно. Во всяком случае, в классе я скоро стал своим человеком и баловством своим начал донимать учителей не меньше, чем мои товарищи. Справедливости ради надо сказать, что наша 45-я школа, которая размещалась в очень плохом здании, при всей ее бедности была отличной школой с прекрасными традициями, замечательными педагогами, преданными всей душой своему призванию, своей профессии и которые безусловно оставили в моей жизни глубокий и красивый след. Где взять таких педагогов для наших детей, точнее, для наших внуков?

Исключением среди них была моя учительница в 4-м классе — «Тетя Бетя», как мы ее называли. Ее настоящее имя было Белла Моисеевна Банох. В профессиональном отношении это был блестящий педагог, но, видимо, неудавшаяся личная жизнь оставила в ее душе след, сделала ее жесткой и сухой, иногда даже жестокой... Это была очень колоритная фигура. Некрасивая, будто сама смерть, как говорят у евреев. Женщина средних лет, которая своим продолговатым лицом, впалыми щеками, испитым носом, помеченным оспой и низким голосом была больше похожа на мужчину, чем на женщину.

К тому же у нее были тонкие, кривые ноги. Если Пушкин встал бы из могилы.... В мочке ее большого левого уха просвечивала дырочка, величиной в вишневую косточку — должно быть, след от неудачно вставленной сережки... Среди детей в школе она пользовалась славой ведьмы, и мы ее действительно боялись.

Но что касается ее преподавания и умения вести уроки, то это был редкий педагог. Она была строга с нами, буквально вкладывала все в наши мозги. Самые неспособные ученики у нее справлялись с учебой. Я всегда был убежден, что ко мне Тетя Бетя относится с особой антипатией. Нередко она мне выговаривала и на своем литовском диалекте<sup>1</sup> низким голосом перед всем классом называла меня «фойляк» (лентяй).

Я считаю, что она была совершенно права, так как усердием в учебе я не отличался, и моей маме было мало удовольствия, когда Тетя Бетя вызывала ее в школу. Особенно, помню я, мне влетело от нее в один из осенних дней, когда я опоздал в школу на целых два урока. Об этом, пожалуй, стоит рассказать подробней.

Мы жили в Харькове на улице Дегтярной в нововыстроенном доме для рабочих текстильной фабрики «Красная нить», где работали мои родители. К тому времени, о котором я рассказываю, непосредственно возле нашего дома начали новую стройку — расширяли наш дом. Это было в голодное время, когда крестьяне бежали в город и многие из них стали строителями, в которых была большая нехватка. На нашей новостройке также трудились вчерашние хлебopашцы. Они жили в подвале нашего дома, в котором раньше был красный уголок. Там в большом помещении с широкими дощатыми нарами в два этажа устроилась вся стройбригада вместе со своими женами и детьми. Мы, дворовые мальчишки, из-за любопытства часто бегали в вечернее время в это общежитие, где всегда стоял удушающий смешанный запах махорочного дымы, пищи, детских

---

<sup>1</sup> Европейский идиш делится по территориальному признаку на две основные категории — западный и восточный. Восточную область распространения идиш можно разделить на три района: северо-восточный (Белоруссия, Литва, Латвия), центральный (Польша, западная Галиция) и юго-восточный (Украина с частью восточной Галиции, Румыния).

пеленок, грязных портянок, сапог и собачьих шкур. Нас, однако, притягивал сюда веселый шум, смех, пение и танцы под звуки гармошки. Квартиранты подвала очень тепло относились к дворовой ребятне, шутили, забавлялись с нами, и мы стали друзьями. Среди них выделялся молодой красивый парень с черной кучерявой головой, двумя рядами белоснежных зубов и улыбающимся ртом — совсем как цыган. Его звали Василием. Мы, мальчишки, буквально приклеились к нему. Василий нас очаровал своими мускулами, своим всезнайством и покладистостью. Мы взбирались на его плечи, висели на нем, делали разные фокусы и представляли цирк.

Как я уже рассказывал, дома у себя мы держали собаку Лизку. Это было милое существо, к которому мы привязались, как к члену семьи. К тому времени, о котором я хочу рассказать, к Лизке зачастили целые стаи «женихов», которые собирались около наших дверей и делали нам разные неприятности. Соседи на нас сердились, и мне часто приходилось воевать с обожателями нашей Лизки, отгоняя их от наших ступенек. Среди них выделялся лохматый, белый в яблоках, величиной с теленка и с добродушными глазами пес, с которым я подружился. Это была одна из многочисленных беспризорных собак, которые в те голодные времена бегали по улицам, разыскивая хоть след какой-либо пищи. Это был единственный «жених», которого я допустил к нашей «невесте», хотя разница в росте была колоссальная. Лохматый — так я назвал собаку, которая ко мне привязалась, часто сопровождал меня, куда бы я ни шел.

Однажды я услышал через окно нашей квартиры дикие крики людей и собачий визг. С сердцебиением в один миг я выбежал во двор и то, что я увидел, ошеломило меня: несколько рабочих-строителей, и между ними Василий, с палками в руках, разъяренные, гонялись за Лохматым, стараясь его окружить. Испуганная собака металась из одного конца двора к другому, ища спасение, но все проходы большого забора были загодя закрыты, кроме одной дыры в конце двора; туда, оглушенный криками, и пустился Лохматый. Я бросился к Василию с криком протеста, но тот меня даже не заметил



и, раздраженный, продолжал охоту. С радостной надеждой я смотрел, как Лохматый пустился к единственному отверстию в заборе, но скоро разочаровался: дыра была заранее подготовленной западней и собака запуталась в сетке из колючей проволоки. Разбушевавшиеся охотники с палками в руках подбежали к самой сетке, в которой пленник боролся со смертью. Я закрыл глаза, чтобы не видеть смертельный удар. Но тут случилось чудо: Лохматый с необыкновенной силой вырвал из забора проволочную сеть и вместе с ней как стрела из лука вырвался из плена. У меня с души свалился камень. Перебравшись через забор, я побежал в направлении, куда скрылась собака. Нашел я его далеко от нашего дома. Он стоял жалкий, окровавленный, с разодранной шкурой, и жалобно выл от боли, которую ему причиняла колючая проволока, которая врезалась ему в тело. Я никогда не забуду, какими благодарными глазами мой лохматый друг смотрел на меня и лизал мои руки, в то время как я освобождал его от злополучной проволоки.

Возвратиться домой я не посмел, потому что собака, не отставая от меня ни на шаг, во дворе нашла бы свою смерть. Не зная, что предпринять, я пустился вместе с собакой шагать по улицам, надеясь, что, в конце концов, что-нибудь придумаю.

Но в то же время у меня не выходил из головы и вызывал в моей детской душе отвращение мое божество — Василий. Еще и еще раз он возникал перед моим мысленным взором с поднятой над собакой палкой, с перекосившимся от злобы лицом. При этом мне пришло в голову, что в столь полюбившемся нам общежитии рабочих-строителей я видел собачьи шкуры на нарах. Все во мне кипело, и тут как раз самое время в школу. У нашей тети Бети опоздать на уроки было нешуточным делом. Обдумывая так свое положение, я бессознательно подошел к своей школе, где как раз окончился первый урок. Ученики моего класса окружили меня с собакой на школьном дворе и с большим сочувствием выслушали мой печальный рассказ. Некоторые предлагали построить здесь во дворе будку и всем вместе воспитывать собаку.

Этот план мне донельзя понравился, и я отправился в сопровождении нескольких учеников полный решимости к тете Бете, которая уже вошла в класс после звонка. Я не успел даже открыть рот и выговорить хоть одно слово, как моя учительница меня «атаковала» своим монотонным мужским голосом. Что я только не услышал от нее? Что я фойляк (лодырь — ее любимое словечко), бездельник, что кроме, как гонять собак, я ни на что не способен, одним словом — самый что ни на есть последний... и, после всего, чтобы я без мамы в школу не появлялся.

Легко представить себе мое состояние, мою обиду. Но зато я покинул школьный двор с облегчением: мою пострадавшую собаку оставила у себя школьная сторожиха Тетя Мотя, которая когда-то подарила мне Лизку — собачку, которую мы воспитали у себя дома.

И еще один эпизод с Тетей Бетей сохранился у меня в памяти. Наш класс писал контрольную работу — изложение по поэме Эзры Фининберга «У Днепра». Поэма мне очень нравилась, я ее знал почти наизусть и с большим удовольствием писал в своем изложении, как сотня чеченцев подъехала к домику рыбака Алексева, что у Днепра, и потребовала, чтобы он провел их к красным, у которых служили его сыновья. Я был настолько увлечен, что не заметил, как урок закончился, и как Тетя Бетя подошла к моей парте. Едва я успел подписать мою фамилию, как она забрала у меня тетрадь, не преминув меня уколоть, мол, учиться надо, а не бездельничать — тогда легче будет писать... Я молча проглотил замечание, будучи уверенным, что моя работа никуда не годится. Но на второй день случилось что-то необыкновенное. Тетя Бетя раздавала проверенные контрольные работы с замечаниями и оценками. Некоторые работы она хвалила, некоторые сравнила с пылью. В ее руках не оставалось ни одной тетради, а обо мне — ни слова. После короткой паузы Тетя Бетя открыла свой потертый портфель, и в ее жилистой высохшей руке я увидел мою тетрадь. У меня сердце упало, и я приготовился к самому

худшему. «Теперь, дети, — обратилась она к классу, — я должна вам прочитать вот эту самую работу», и с почти артистическим видом, таким несвойственным ей, начала читать мое изложение. Я помню хорошо, как ее впавшие щеки покраснелись и на синеватых губах заиграла улыбка удовольствия. При мертвой тишине в классе Тетя Бетя закончила чтение и почти крикнула: «Отлично!» Все ученики повернули головы ко мне, и я не знал, куда глаза девать. Мне захотелось, сам не знаю отчего, заплакать.

Выручил меня звонок. Отдавая мне мою тетрадь, Тетя Бетя со всей мягкостью, на которую она была способна, меня хвалила: «Молодец... А? Если ты захочешь только — ты можешь...» И мне захотелось на ее доброту ответить чем-то хорошим и доверить ей мой секрет — что я уже пишу стихи...

С этого дня Тетя Бетя начала ко мне относиться совсем по-другому. Я вырос в глазах всего класса. Я вырос в собственных глазах... Я не могу без улыбки рассказать, что вскоре после этого со мной случилось.

Так как Тетя Бетя стала такого высокого мнения обо мне, я вынужден был держать свою марку: я сразу начал усердно учиться, перестал баловаться на уроках, одним словом — примерный ученик. Дело дошло до того, что Тетя Бетя на собрании предложила мою кандидатуру на председателя класса и все ученики проголосовали за меня. Приобрести этот титул — это был триумф, который придавал общественный вес, гордость, и, говоря по правде, я никогда об этом не даже не думал. Во всяком случае, после собрания все ученики меня поздравили, и домой из школы я шел, преисполненный чувства собственного достоинства.

Но если на свете имеются рекорды по минимальному пребыванию на Олимпе власти, то можно считать — я этот рекорд побил: моя миссия классного председателя продолжалась не более 24-х часов, сутки. А случилось следующее: на другой день, в середине последнего урока я почувствовал, что кто-то вкладывает мне в руку бумажку. Я обернулся. Записку мне передала ученица,

сидевшая сзади меня. Незаметно, как мне казалось, я развернул записку, но прочитать ее не успел. Тетя Бетя меня застала врасплох, и бумажка очутилась в ее руках. У автора письма за моей спиной это вызвало вздох отчаяния. По выражению лица у тети Бети во время чтения записочки я догадался, что произошло нечто необыкновенное. Она бумажку аккуратно сложила и, не заканчивая урок, неожиданно объявила собрание класса. О том, что затем последовало, мне даже сегодня тяжело писать. В напряженной тишине Тетя Бетя прочитала для всех эту записочку, в которой моя соседка (Мэри ее звали) давала мне знать, что я ей очень нравлюсь... Это было как гром среди ясного неба. Мэри закрыла лицо руками и расплакалась. Я почувствовал, как мои щеки пламенеют, а ученики в классе, после короткой паузы, во время которой до них дошло только что услышанное, разразились как один громким смехом. Бедная девочка Мэри! Каково ей было тогда?.. А Тетя Бетя монотонным мужским голосом прочитала нам мораль, со спокойствием палача потребовала, чтобы «виновная» без мамы завтра в школу не являлась. Что касается моей судьбы — она постановила освободить меня от поста председателя класса, так как не к лицу председателю класса заниматься такими делами. Таким образом, я был у власти лишь одни сутки и ушел в отставку «из-за любви», о которой не имел ни малейшего понятия.

Позже, когда я стал старше, я узнал, что женщины любят мужчин, которые занимают важную должность, и что не один из них стал жертвой из-за любви.

Вот так закончилась моя карьера и сразу же — никакой невесты, как в пословице: «Нет невесты — снова в девках». И я снова очутился у разбитого корыта, то есть я снова стал «лентяем», «бездельником», снова моя мама зачастила в школу, чтобы выслушивать рассказы Тети Бети о моих проказах.

Я думаю, что Тетя Бетя не менее меня была довольна, когда мы с ней в конце учебного года распрощались, и я перешел в следующий класс. Но как ни парадоксально и странно это не звучит,

когда я уже учился в седьмом классе, именно Тетя Бетя «устроила» меня репетитором к ученице ее класса, которая из-за болезни отстала от учебы. Девочка была из зажиточной семьи, и в те голодные годы это для меня было очень важно, поскольку давало возможность заработать несколько полтинников и иногда сытно пообедать, на что я ни как не мог у себя дома рассчитывать.

Из своих многочисленных школьных воспоминаний мне хочется рассказать еще несколько. В начале тридцатых годов в школьном деле были проведены различные реформы, многие из которых себя не оправдали и со временем были отменены. Стремясь внедрить у детей школьного возраста опыт, самостоятельность и процент по успеваемости, школы перевели на бригадный метод обучения: учащиеся в классе распределены были по бригадам из четырех-пяти детей. Учитель задавал выучить определенную тему, которую бригады обязаны были выучить тут же в классе самостоятельно и после этого один ученик от бригады «отчитывался» перед учителем. При этом бригада сама выбирала из своего состава одного ученика, который выступал с отчетом о пройденном материале, а учитель ставил оценки всей бригаде. Большого рая, как эта система, мы, лентяи, не могли себе и желать. Я помню, в нашей бригаде было пять учеников — две девочки и три мальчика. Одна из этих девочек, маленькая Хая Гершман, была самой лучшей и самой способной в классе и поэтому ей суждено было всегда отбывать повинность за всю нашу бригаду, в то время как мы, другие члены бригады, занимались на уроке чем угодно, но только не учебной... Так, помню, когда на уроке биологии учительница задала нам выучить строение рыб, наша ученица Хаечка с усердием взялась за учебник; другая девочка из нашей бригады, Теня, углубилась в чтение книги с рассыпавшимися желтыми страницами — любовного романа, Арончик рисовал профиль нашей биологички, а я с Авремеле сочиняли песенку на популярный мотив, которую затем пел весь класс. Я помню только первые строчки:

*Ударная бригада  
В ударный запишишь...  
Вот тогда узнаешь  
О строении рыб...*

Конечно же, это была несурaziца, но всем было весело, и мы веселились от души... К этому самому времени, о котором я рассказываю, школы превратились в так называемые фабрично-заводские. Это значило, что каждая школа имела предприятие-шефа, где учащиеся старших классов должны были овладеть профессией. Так, наша школа, которая тогда называлась своим полным именем «Харьковская еврейская семилетняя фабрично-заводская образцовая школа», имела два шефских предприятия — центральный телеграф возле нашей школы на площади Руднева, где ученики 7-го класса учились на телеграфистов, и пятая обувная фабрика, которую посещали наши два шестых класса, в том числе и я. Забегая вперед, я должен констатировать, что ни один телеграфист и ни один сапожник из нас не получился. Но это между прочим.

Рассказать я хочу об одном эпизоде, который сыграл определенную роль в моем формировании как личности. Меня с еще несколькими учащимися нашего класса определили в цех обувной фабрики у машин, на которых рабочие прибавали подметки к ботинкам. Первое время нам эта операция нравилась, и мы с удовольствием смотрели, как умная машина искусно изготавливает ботинки. Но лишь стоять и наблюдать одно и то же несколько часов подряд (что-то делать с машиной нам не разрешали) не для ребятни, которая переполнена энергией и желанием к движению. Это нам все надоело, и мы начали искать развлечения: лазили по всем углам цеха, шатались по другим цехам и просто баловались. Удовольствие нам лишь доставлял обеденный перерыв, когда мы наравне с рабочими заходили в большой зал столовой и там, как свои, обедали. После этого мы уже едва дожидались конца смены, чтобы побыстрее убраться домой.

Это было как раз зимой, когда мы, мальчишки, катались на коньках. Иметь в те времена специальные ботинки с коньками было в нашей среде делом редким. Поэтому на колодки обычных ботинок набивали железные пластинки, к которым крепились коньки. Понятно, что колодки очень часто отрывались от ботинок.

Так вот, работая (!) на обувной фабрике, наши ребята положили себе в карман пару колодок и вынесли их с фабрики, чтобы дома заменить ими уже потертые. Это, разумеется, сделано было тайком, но за большой грех это не посчитали: тут в цехе лежали целые горы этого добра, так что же составляли эти несколько колодок?.. Однажды я тоже соблазнился на такую кражу, но заплатил я за это очень дорого. При выходе из фабрики на контрольном проходе охранники вдруг задержали всю группу учеников, ввели в соседнюю комнату и начали нас обыскивать. Сердце у меня часто забилось, в глазах у меня потемнело, и я почувствовал себя, словно попавший в засаду зверь, без всякого выхода. Инстинктивно я начал пятиться назад, чтобы оказаться позади всех, стремясь выиграть еще несколько мгновений до моего окончательного провала, и почувствовал у моих ног железную урну, стоящую в углу комнаты. Искра надежды затеплилась во мне. Незаметно для всех я вынул из кармана моего пиджака украденные мной чурки и, нащупывая наугад позади себя, опустил деревяшки в железную урну. Но тут случилось самое страшное: колодки упали с грохотом не в урну, а мимо нее. Мною овладело шоковое состояние, и я даже не заметил, как очутился один, отделенный от всех возле стены; у моих ног — украденные чурки, а напротив охранник, буравивший меня своим колючим взглядом...

Мне трудно сейчас передать, что со мной творилось. Мое отчаяние было безграничным. Все присутствовавшие, в том числе и ученики моего класса, которые сами были грешны, смотрели теперь на меня молча с насмешкой, и в их молчании я ясно слышал: «Ты вор! Ты вор!» Учителя в классе вели себя по отношению ко мне так, будто они ничего не знают, но я хорошо понимал, что это лишь для вида...

Наконец-то, после уроков меня вызвала к себе заведующая школой. Я к этому был готов. Кроме того, я это интуитивно чувствовал, что хуже уже не может быть ничего. Поэтому этот вызов на меня не произвел особого впечатления. Меня даже не слишком удивило, когда я увидел в кабинете заведующей мою маму. Она, наверно, догадалась вчера, что со мной случилось что-то серьезное, и поэтому без всякого приглашения отправилась в школу. По лицу своей матери я понял, что она знает уже обо всем, и мне от этого стало немного легче...

Дора Марковна посадила меня возле себя, и положила свою руку на мое плечо. Она мне не сказала ни одного слова осуждения. Она меня лишь спросила:

— Для чего это сделал?

Я молчал. Тогда она меня еще раз переспросила. С опущенной головой я что-то пробормотал бессвязное... Долго заведующая меня не задерживала, и я впервые за прошедшие сутки вздохнул полной грудью.

По дороге домой мы с мамой не говорили. Я сам себе не мог тогда отдать отчет во всем, что со мной произошло. Я уверен, что в моей душе произошел настоящий перелом, который наверняка сыграл значительную роль в моей дальнейшей жизни.

Этот случай, который я тяжело переживал, мне также невольно открыл глаза на подлость некоторых человеческих поступков: через некоторое время я узнал, что обыск нашей группы на обувной фабрике не был случайным; это один из моих «доброжелателей» в классе заранее донес охранникам на проходной, что я взял чурки и при этом предупредил всех, кроме меня, что будет обыск... И еще я не мог понять, как это мои товарищи, которые раньше, точно как я, выносили эти деревяшки из фабрики, как они потом укоризненно смотрели, осуждая меня, и довольны были, что вышли сухими из воды? О, если б я тогда знал и понимал, на что люди способны!..

Как говорят? Беда в одиночку не ходит. Из школы я всегда ходил пешком, по нижнему пути транспорта тогда не было. От нашего



дома, что на Дегтярной улице, я спустился с горы и вдоль Журавлевки шел до горбатого моста. Отсюда на площадь Руднева и в школу. Был также и верхний путь через Чайковскую и Пушкинскую улицы. Трамваем я редко пользовался, в основном, когда хотел избежать встречи с хулиганами из Журавлевки, с которыми я не раз выдерживал баталии. В драке я был весьма опытен, и уже не один хулиган почувствовал на себе мои кулаки, когда мне приходилось от них защищаться. Но с целой сварой журавлевцев я не был в состоянии справиться. Вот в таких случаях я ездил трамваем домой.

В один из таких январских вечеров на улицах блеснул лед, как зеркало, и я после уроков вместе с одноклассниками отправился к трамваю. Мы только-только подошли к остановке, как мой вагон, переполненный, тронулся с места и я, желая хвостануть перед моими спутниками, пустился за трамваем с целью вскочить на подножку на полном ходу. Но меня постигла неудача, которая чуть не стоила мне жизни. Набегу у меня слетели калоши с ботинок, я поскользнулся и упал у самого вагона, при этом пальцы моих рук почти касались рельс и колес. Истерические крики перепуганных прохожих оглушили меня. Я хотел оторвать мои руки от рельсов, но это было невозможно, как будто пальцы мои приклеились навечно к этому месту, и хотя это все происходило в течение нескольких секунд, мне представилось, что это никогда не кончится... Вот этот момент, как я лежу, приклеенный руками к рельсам, и это не кончается, снится мне время от времени до сегодняшнего дня на старости, и я просыпаюсь в холодном поту. Кончилось это все тем, что последняя ступенька трамвайного вагона саданула меня в лицо и отбросила от линии. Боль я не почувствовал. Я поднялся с земли, меня окружила большая толпа и смотрела на меня, будто я вернулся с того света. Кто-то из наших учеников показал на мое окровавленное лицо. Я притронулся к правой щеке, оттуда текла кровь, и попал пальцем в рот — щека была прорвана насквозь, и никакой боли. Я все еще был в шоковом состоянии, мои товарищи провели меня через дорогу, где на углу Московской и Конной

улиц тогда находилась поликлиника «Красного креста». Там меня немедленно положили на операционный стол, и хирург без всякой анестезии зашил мою щеку. Я даже ни разу не вздохнул... И когда я простился с доктором, тот добродушно меня утешил: «Ничего, все заживет, а шрам у тебя останется, но у тебя вырастет борода и его даже не заметят, и если даже он будет виден немножко — так ты ведь не девушка, шрамы украшают мужчину...» Он сказал правду; шрам на щеке остался на всю жизнь — память моего мальчишеского безумия. Он таки моему сватовству не помешал, но украсил ли он меня? Сомневаюсь...

Когда бы мне не приходилось бывать в Харькове, я проезжаю трамваем это незабываемое место и с ужасом снова переживаю прошлое. Тогда я укрепляюсь во мнении, что и вправду мама родила меня в рубашке...

Наша сорок пятая школа при всей ее убогости, действительно была образцовой школой в смысле учебной и общественно-воспитательной работы. Как я уже ранее заметил, педагогический коллектив во главе с заведующей Дорой Тейтельбаум был редкостным. Учителя жили жизнью школы, ставшей для них настоящим домом. Они держали в поле зрения каждого учащегося, не считались со своим временем и делали все, что только могли, чтобы их школа не ударила в грязь лицом. И они действительно многого добились. Уровень знаний наших учеников был довольно высок: на различных олимпиадах в городе они завоевывали почетные места, и большинство из них без особых трудностей поступило в специальные средние школы. Наша школа открыла путь немалому числу высококвалифицированных инженеров, медиков, ученых и даже лауреатов государственных премий. Я уверен, что свой заряд они получили в нашей семилетней школе. У нас были частыми гостями еврейские писатели, еврейские артисты, в школе работал отличный драмкружок под руководством талантливого Бориса Рискинда, литературный кружок, которым блестяще руководил совсем молодой еще учитель и писатель Нохэм Соловей — сам бывшей

выпускник нашей школы. Были у нас и музыкальный хор, ударный оркестр, спортивный кружок для способных ребят, таких, например, как Лева Сегалович — будущий заслуженный деятель спорта, многократный чемпион по боксу Советского Союза и Европы.

Не сравнить прежние и современные седьмые классы. Ученики моего поколения в седьмом классе были серьезнее, взрослее, целеустремленнее, в отличие от сегодняшних акселератов по росту и инфантильных по другим показателям... Я погрешил бы против истины, если б все обобщил. Но здесь я говорю о большинстве.

Пятые и шестые классы у нас в школе были еще дикими: мы часто переворачивали всё вверх дном, делали большие неприятности учителям. Мне вспоминается один эпизод. Перед началом урока по географии наш шестой класс завесил все окна географическими картами. В комнате стало темно, как ночью. Мы, ученики, сидели на своих местах, как немые, и когда учительница вошла в класс, она просто испугалась и убежала. В одно мгновение мы сняли карты с окон, и когда учительница вместе с заведующей возвратилась в класс, там был полный порядок. В пятых и шестых классах подобные представления были нередким явлением, но только не в седьмых.

В летнее время начала тяжелых тридцатых годов, нас, учащихся старших классов, посылали в село «собирать колоски». Так это только называлось. А на самом деле мы, совсем еще дети, еще не отлученные от маминой юбки, трудились в поле от восхода до заката: вязали снопы, скирдовали, сапали<sup>1</sup>, закладывали силосные ямы и при этом спали лишь несколько часов в сутки и очень скудно питались. Удивительно, как мы все это переносили, оставаясь, несмотря на это, веселыми и бодрыми: шутили, баловались. В дождливые дни, когда прерывались полевые работы, мы устраивали представления художественной самодеятельности с танцами, пением. Я и Лева Сегалович выступали как акробаты и очень понравились нашими «мостиками» и «стойками». К слову надо заметить, что мальчиком я был ловким и неплохим спортсменом. Футбол,

<sup>1</sup> То есть работали сапой (кирка для разрыхленья земли). — *Прим. ред.*

волейбол, коньки, лыжи, плавание, турник — это были мои любимые игры и занятия, в которых я добивался успеха. Не все мальчишки моего возраста могли молнией слетать на коньках с высокой горы на улице Дехтярной. Не каждый мог подтянуться на турнике несколько десятков раз и остаться висеть с согнутой под 90 градусов рукой. Никто из моих товарищей не был таким гибким, как я, и не мог делать такие «резиновые стойки», как я. Все это я пишу без всякой ложной скромности. Более того, не будет преувеличением сказать, что моя спортивная закалка и умение выручали меня при различных трудных обстоятельствах и однажды даже обеспечили меня куском хлеба, о чем я расскажу позже.

## Техникум

В 1933 году я закончил семилетнюю школу, и передо мной встал вопрос: куда идти дальше? Я рвался поступить на завод, чтобы приобрести профессию и стать самостоятельным человеком. Мои родители склоняли меня к поступлению в еврейский машиностроительный техникум, куда годом раньше поступил мой старший брат. Технические дисциплины меня, однако, не притягивали. Совершенно случайно я узнал, что в Харькове есть многонациональный журналистский техникум, в нем также имелся еврейский факультет. Недолго думая, я отправился с моими документами.

Секретарь приемной комиссии скептически смерил меня взглядом с ног до головы, соорудил странную гримасу, узнав, что мне 14 лет, и выяснил у меня снисходительным тоном, что побуждает меня поступать в журналистский техникум. Когда я ему сказал, что пишу стихи и рассказы и что некоторые из моих рассказов даже напечатаны в газете, секретарь опустил очки со лба на нос и заглянул мне в глаза, желая убедиться, что я говорю правду. Наконец, он мне велел принести рекомендацию из редакции.

К тому времени в еврейской детской газете «Будь готов!» были действительно напечатаны три моих рассказа. Один — первый — я передал корреспонденту Семе Кипнису на слете юных путешественников, а последних два рассказа в редакцию отнес сам Лев Квитко, которому я оставил свою тетрадь при первом визите к нему домой. Сам в редакции я еще никогда не был. Я даже не знал, где редакция находится. Но свет, говорят, не без добрых людей. При выходе из приемной комиссии ко мне подошел парень с лицом, помеченным оспой, и большим светлым чубом. Наверно, его внимание привлек мой озабоченный вид. Какие-нибудь 5—10 минут спустя мы уже беседовали с ним как старые добрые друзья. Это был Генех Койфман. Родившись в еврейском местечке в Чернигове, он изучал в Киевском еврейском техникуме слесарное дело и переехал в Харьков, чтобы поступить в журналистский техникум. Он уже успел отдать свои документы и теперь искал абитуриентов, с которыми ему предстояло вместе сдавать вступительные экзамены и, если повезет, вместе учиться. И вот он встретил меня...

Узнав, что у меня требуют рекомендацию от редакции, где были напечатаны мои рассказы, Генех схватил меня под руку: «Идем со мной», — сказал он уверенно. Я не спросил «куда?» — так уверенно звучал приказ Генеха. Лишь на улице я узнал, что мы идем в редакцию. За те два дня, что он был в Харькове, Генех успел побывать в редакции, познакомиться там со всеми и отдать туда несколько своих стихов для публикации.

Он был старше меня на три года и, хотя из местечка, но далеко не из робких. По пути в редакцию мой новый товарищ меня просто засыпал своими стихами. Декламировал он со всем своим поэтическим темпераментом так, что его необыкновенно большой чуб время от времени падал ему на глаза. Прохожие на улице смотрели ему вслед, как на странное существо, но он никого вокруг себя не замечал. Так мы добрались с ним к «Нацмениздательству», находившемуся близко от Благовещенского рынка.

Длинный коридор с многочисленными дверями различных редакций, стук пишущих машинок, люди, которые здесь не ходили, а бегали взад и вперед с бумагами в руках — это все производило впечатление. Я почувствовал себя совсем потерянным и забыл даже зачем я сюда пришел. Но Генех держал меня под руку и смело вел меня вперед, словно он был здесь своим человеком. Сотрудники «Будь готов!» проявили ко мне интерес. Писатель Абрам Коган взял меня за подбородок: «Квитко нам уже рассказывал о тебе... Ты, наверное, принес новую сказку?» Генех ответил за меня, и в считанные минуты в моем кармане лежала нужная рекомендация. Через несколько дней я успешно сдал экзамены и мог с гордостью объявить моим родителям, что меня можно поздравить. Мой отец был очень доволен, но моя мама была не в восторге. «Журналист, — говорила она, — это не профессия, это воздушный человек, это вроде Менахем-Менделя...» (герой романа Шолом-Алейхема). На лице моей мамы появилась скептическая улыбка, которую можно было истолковать: «Так и быть, золотко мое, посмотрим...» Очевидно, она не хотела сбить мой энтузиазм и окончательно меня разочаровать.

Итак, я стал студентом. И не просто студентом, а студентом техникума журналистики, кажется, единственного в Советском Союзе — как красиво это звучало, сколько светлых мечтаний! К тому же я буду получать стипендию и необыкновенную, но даже повышенную — 130 рублей — в два раза выше, чем в других техникумах. Это значит, что у меня будет живая копейка в кармане, и мне не нужно будет кланчить у своих родителей деньги на кино. И если я уж действительно стал студентом, то могу же я открыто закурить папиросу и не прятаться по углам... И это еще не все: судьба распорядилась так, что общежитие, где жили студенты нашего техникума, находилось как раз за забором нашего двора. Это сулило то, что мои новые товарищи будут всегда со мной. И так оно и было. Я начал новую жизнь. По правде говоря, учеба, содержание лекций меня мало интересовало, кроме изучения языка и литературы. Остальное мне казалось ненужным и неинтересным.

Время в техникуме я отбыл без особых приключений. У меня появились совсем другие интересы. Почти каждый день вместе с Генехом Койфманом, с которым я близко сошелся, я пропадал в редакциях «Зай Грейт» («Будь готов!»), «Юнге Гвардие» («Молодая гвардия») и позже — «Дер Штерн» («Звезда»). Мы там были свои люди и часто там путались под ногами у сотрудников газет, искали встреч с писателями и надоедали редакторам нашими стихами и рассказами. Понемножку нас печатали.

Состав нашей еврейской группы был неинтересный — большей частью молодежь из маленьких местечек вокруг Винницы, Киева, Житомира — люди, которые случайно приехали к нам учиться, так как не нашли другого места. Среди них было несколько исключений, и мы держались с ними вместе, и даже немножко зазнавались, будучи убеждены, что мы стоим выше других.

Они, «другие», успешнее нас учились, получали хорошие отметки и были дисциплинированы, в отличие от нашего кружка, который бравировал тем, что мы вообще ничего не учим, что мы не признаем никакой дисциплины, мы были лишь заняты сочинительством и беготней по редакциям... Немалое место в нашей жизни занимали девушки. И хотя я был самый молодой, я был по уши влюблен еще с седьмого класса в ученицу нашей школы, годом младше меня. Это была красивая и чистая детская любовь, которая заполняла все мое естество и тянулась несколько лет.

Вместе с моими новыми друзьями я часто посещал харьковский еврейский клуб имени III интернационала на улице Пушкинской в здании городской синагоги. Там мы себя чувствовали как дома; встречались с еврейскими писателями на частых литературных вечерах, с артистами еврейских театров, пользовались богатой библиотекой и в 1934 году организовали литературную студию, ядро которой образовал «наш» кружок.

Понемножку к нам присоединились все начинающие писатели города, и закипела у нас интересная деятельность. Союз писателей прикрепил к нам своих членов — писателей Иосифа Котляра,

Файвла Сито, М. Хашцеватского, Довида Пинчевского, Хаима Гильдина, Пейси Альтмана, которые в разное время руководили студией.

Старостой выбрали меня. Чаще всего мы на студии читали собственные, только что написанные стихи и рассказы. Нередко мы устраивали творческие встречи с харьковскими еврейскими писателями и с писателями, которые приезжали к нам из Москвы, Киева, Минска. Примечательными были встречи с Изей Хариком, Довидом Гофштейном, Фининбергом, Ициком Фефером. Я помню, что на встречи приходили не только члены студии, но также рабочие, служащие, студенты. Библиотека клуба не всегда могла вместить всех желающих. В таких случаях мы переходили в просторный читальный зал, и наши заседания превращались в интересные литературные вечера. На одном из таких вечеров, посвященном только что появившейся книге Ицика Фефера «Пласты», мне предстояло выступить с критическим разбором лирики в этой поэме. Другому студенту, Менделю Лившицу, — о реализме в этом произведении. Зал был переполнен. У стола на сцене сидел сам автор — Ицик Фефер. Первым выступил Мендел Лившиц, который весьма четко и к месту реализовал свою тему. Я к своей теме подготовился довольно основательно. Но как только я вышел на сцену и увидел битком набитый зал, который с любопытством рассматривал шестнадцатилетнего «критика», я тут же растерялся и, хотя Ицик Фефер пытался меня успокоить и подбодрить шуткой, это уже не помогло. Все приготовленные мысли перемешались в одну кашу, и я начал болтать сам не знаю что. Я чувствовал, что лицо мое пылает и был готов спрыгнуть со сцены и выбежать из зала. Ко всему этому, когда искал цитату из поэмы, как снег посыпались из книги многочисленные бумажки, которыми я заложил страницы, что вызвало громкий смех всего зала, и больше всех смеялся Ицик Фефер... Еще долго потом надо мной посмеивались наши студийцы, вспоминая о моем дебюте в критике. И я вынужден был это молча проглатывать... Правда, это не помешало в очередном номере литературного журнала «Фармэст» («Соревнование») появиться-



ся отчету об этой встрече, где было указано, что Мендел Лившиц и я глубоко и многосторонне проанализировали «Пласты» Ицика Фефера. «Аз ох ун вей!» («Ну и ну! Не дай Бог!»).

В нашей студии сформировалась довольно способная группа начинающих писателей: Нохэм Соловей, Эмануил Эйдлин, Хайкл Душацкий, Генех Койфман, Мотл Голбштейн, Мотл Грувман и другие. Нас печатали. «Молодая Гвардия» каждый месяц посвящала нам целую страницу в газете «Первое слово», где были представлены, каждый в отдельности, наши начинающие писатели с оценкой известного писателя. Я был представлен в «Первом слове» моей новеллой «Буханка хлеба» с рецензией обо мне и моем рассказе М. Даниеля.

Время нашей литературной студии — это период творческого подъема нашей группы начинающих. Мы, Генех Койфман, Мотл Голбштейн и я, образовали нечто наподобие «треугольника», который почти никогда не разлучался. Генех жил в общежитии на Чайковке за забором нашего дома и все свое свободное время проводил у меня дома или я у него. Мотл Голбштейн жил далеко от нас, у своего старшего брата, но это ему не помешало пристать к нам. Главной темой наших разговоров была обычно литература, ну и девушки. Самый веселый и бравый среди нас был Генех. Будучи убежден в том, что поэт должен обязательно выделяться своим «сумасбродством», он откалывал такие номера, от которых окружающим становилось не по себе... Мотл был спокойным, но из-за его склонности ко лжи я его прозвал «Мотеле-ганэв» («Мотэлэ-воришка»). Дать характеристику самому себе мне было труднее, но мне кажется, что в моем поведении тогда была какая-то двойственность. С одной стороны, я стремился к солидности, с другой стороны, из меня еще выпирало мальчишество в полном смысле этого слова. Во всяком случае, наш «треугольник», невзирая на особенности каждого, был монолитным дружеским союзом, где один мог излить душу другому.

Частые посещения харьковских писателей были обязательными в нашем распорядке дня. Мы им здорово докучали, я не знаю,

как они нас выдерживали. Мы врывались к ним без всякого предупреждения и отрывали у них много часов нашими опусами.

Больше всех страдал от этого Лев Квитко, с которым я познакомил Генэха и Мотла. Однако писатель относился к нам так деликатно и великодушно, что никогда не высказывал своего недовольства. Наоборот, мы были убеждены, что мы делаем его счастливым нашими посещениями, хотя теперь я уверен, что далеко не всегда мы приходили к нему в подходящее время...

К пятнадцати годам я написал рассказ «Пальтишко» — о девочке, которая в своем пальтишке переносила прокламации из нелегальной типографии в стачечный комитет лодзинских рабочих. Прототипом героини этого рассказа Минделе была моя мать Сара-Миндл, которая действительно выполняла это задание во время первой русской революции. Рассказ этот понравился, и Лев Квитко сам передал мою рукопись директору еврейского детского издательства Ицику Гринзайду с просьбой издать этот рассказ в форме отдельной книжечки. Когда я предстал перед очами редактора, он громко рассмеялся и добродушно сказал: «В пятнадцать лет — и книжку? Ну, это ты, брат, переборщил... Сам Пушкин этого себе не позволял. Все же добрый человек ваш Квитко...» Я виновато молчал. Я даже не мог выговорить, что книжка вообще не моя идея. Видя мою беспомощность, Гринзайд взял себя за нос: «Не падай духом, я еще кому-нибудь дам почитать твою сказку».

И, действительно, он передал мою рукопись сначала М. Даниелю, который вместе со мной у себя дома прочитал мой рассказ и дал важные указания, потом, последний вариант моего рассказа Дер Нистеру, который фактически стал редактором книжечки.

О Нистере я был много наслышан, не раз его видел, но знаком я с ним не был. От многих писателей, с которыми я к тому времени контактировал, я знал, что Нистер был на редкость скромным, умным человеком и большим писателем, современником и другом Ицхока-Лейбуша Переца. Жил писатель недалеко от меня, на Юмовской улице, и меня охватило чувство внутренней

гордости, что мне предстоит близко познакомиться с таким человеком.

Принял меня Нистер, я бы сказал, нежно. Его красивое лицо, его улыбка и черные усы светились истинной добротой, когда он усадил меня к своему письменному столу. Говорил он тихо, словно боялся кого-то разбудить со сна. Сначала он меня приласкал, как ребенка — рассказ ему понравился. Потом он очень осторожно перешел к недостаткам. Но, когда он открыл мою рукопись, мне стало немножко не по себе: целые фразы были оттуда вычеркнуты и новые дописаны его рукой... При всем моем огорчении, я не мог не заметить, что после его редакции текст звучал намного лучше... Несколько дней спустя после моего визита к Нистеру, меня вызвал в издательство Ицик Гринзайд и подал мне на подпись подготовленный договор. Я был настолько ошеломлен, что, могу поклясться всем для меня святым, что я подписал его дрожащей рукой, даже не прочитав. На аванс от гонорара я сам впервые в своей жизни пошил красивый костюм и заплатил за путешествие по Крыму, которое совершил вместе со своими друзьями Генехом Койфманом и Мотлом Голбштейном летом 1934 года. А кто мог измерить мою радость, когда через несколько месяцев вышла из печати моя книжечка? На каждом шагу меня все поздравляли с успехом. Мой отец был на седьмом небе, мать — немного сдержаннее, но довольна и, главное, я приобрел вес среди своих друзей и товарищей. Кроме авторских экземпляров, я купил в книжном магазине порядочное количество книжечек и раздавал их налево и направо. Лишь одному человеку, которому я был обязан подарить первый экземпляр, Льву Квитко, я не усел передать мое «Пальтишко». К этому времени писатель уже не жил в Харькове, а я мечтал мой подарок вручить ему лично в руки. К сожалению, я Льва Квитко больше никогда не видел, и предназначенная ему книжка с моей надписью «Спасибо Вам за книжку» — это единственное, что у меня сохранилось до сегодняшнего дня.

С тех пор, как я стал автором собственной книжечки, передо мной открылась светлая перспектива творческого роста, я начал много писать, несколько раз печатался. Я задумал роман «Вундеркинд» о юном скрипаче и даже написал его вчерне, но затем моя жизнь пошла перевернулось, и точно также, как до сих пор я быстро шел вверх, также быстро я покатился вниз.

О моей книжечке были напечатаны две рецензии: одна в «Молодой Гвардии» Гирша Бловштейна и вторая — в киевском «Пролетарском знамени» И. Люмкиса. Последний, приехавший в Харьков, очень хотел познакомиться с автором «Пальтишка», и, когда ему представили шестнадцатилетнего паренька, он подумал, что над ним шутят. Между тем, я уже заканчивал второй курс техникума журналистики, и мне предстояло отработать практику. Редактор «Штерна» («Звезды») Бузи Гольденберг, лично пригласил к себе в редакцию на практику Генеха Койфмана и меня. Генех дал свое согласие. Я же захотел поехать в село, на природу, увидеть новую для меня жизнь, новых людей, и я своего добился. Я поехал в еврейский национальный район Ново-Златополь, Днепропетровской области. Тут я отработал целое лето в еврейской районной газете «Колхозная звезда», которую редактировал Хаим Меламуд.

Частые командировки в окружающие деревни, куда я чаще всего добирался пешком, встречи с еврейскими колонистами расширили мой кругозор, и я возвратился с практики довольный и обогащенный большим багажом впечатлений. Вторую и последнюю практику я прошел в киевском «Пролетарском знамени» у редактора Заблудовского. Тут я познакомился со многими еврейскими писателями, посещал еврейский театр, был даже в гостях у артиста Либерт, который играл еще в «Миреле Эфрос» вместе с Эстер-Рохл Каминской, посетил киевскую еврейскую литературную студию. Но самое большое удовольствие я получил от командировок в еврейские местечки области: Лунгин, Овруч, Коростень и многие другие. До тех пор я еще ни разу не был ни в одном еврейском

местечке, а я давно мечтал о таких путешествиях. Разумеется, еврейские местечки тридцатых годов уже были далеко не те, что при Менделе-Мойхер Сфориме и Шолом-Алейхеме, но они на меня произвели большое впечатление своими обычаями и людьми.

Работая в киевской редакции, я непрерывно просил редактора Заблудовского и у секретаря Наровского посылать меня в местечки. Я стремился все больше и больше увидеть. Как казус, во время одной такой поездки в моей памяти сохранился случай на Коростеньском вокзале. Я приехал туда в вечернее время, и мне предстояло ждать следующего поезда до утра. Мест в гостинице не было, и я ходил по залам вокзала, где на скамьях и на полу спали пассажиры. Наконец я устал и кое-как устроился на уголке скамьи, почти на ногах спящего крестьянина. Незаметно я сидя впал в глубокий сон. Не знаю, сколько времени прошло, но я проснулся от того, что кто-то очень усердно тряс меня за плечи. Вместо ответа на мое возмущение мужчина в гражданском показал мне красную книжечку и приказал следовать за ним. Ничего не понимая, я пробовал протестовать и требовал объяснения: что это все значит? Тогда мужчина свистнул в свисток, отчего многие пассажиры проснулись и окружили меня. Скоро появился милиционер, и я вынужден был подчиниться. Меня завели в боковую комнату, где за столом сидел какой-то чин в форме. «Ваши документы?» — обратился он ко мне. Я не помню, при каких обстоятельствах я оставил свой паспорт в Киеве. Единственный документ, который был у меня, было мое временное удостоверение без фотографии, напечатанное на двух языках — украинском и еврейском. «Чин» внимательно просмотрел мое удостоверение, с недоверием оглядел семнадцатилетнего корреспондента и потребовал открыть мой портфель.

— А куда ты дел деньги?

— Что за деньги? Что еще за несчастье? — вышел я из себя.

— Что ты строишь из себя дурачка? — начал кричать «чин». — Мы знаем все! Где деньги?..

Мои слова его не убедили и меня посадили в холодную камеру, где я провел всю ночь. Лишь утром меня освободили и даже извинились передо мной. Оказалось, что по моему возрасту и одежде меня приняли за вора, который опустошил где-то кассу. Только что сюда сообщили, что преступника задержали на другой станции. Когда я обо всем этом рассказал в редакции, все держались за животы, и я сам смеялся вместе со всеми.

Я с трудом закончил техникум. Учеба, как я уже говорил, была неинтересной. Я был убежден, что я уже и так законченный журналист. Меня тянуло в широкий мир, к настоящей работе.

В середине учебного года у меня созрел план бросить учебу и уехать на работу в Биробиджан. К моему плану присоединился один мой товарищ, Янкл, старше меня на четыре года и младше меня на один курс. В один прекрасный день мы оба отправились в «Гезерд»<sup>1</sup> на улице Свердлова, который занимался переселением, и подали заявления о переезде в Биробиджан. Кончилось это тем, что мы получили разрешение на выезд, но в последний момент я проявил слабость и передумал. Янкл уехал в Биробиджан, женился и стал отцом многочисленного семейства.

## Биробиджан

Но я не распростился с мечтой о переезде в Еврейскую автономную область, втянул в это дело Генеха Койфмана, так что после окончания техникума у нас другого выбора не было, и мы вместе пустились в дорогу. О нашем добровольном переселении писал «Штерн», сопроводив это сообщение нашим портретом.

Выехали мы из Харькова 1 сентября 1936 года со светлыми мечтами в наших юных сердцах. По дороге мы на несколько дней

<sup>1</sup> Имеется в виду УКРОЗЕТ в Харькове, всесоюзное общество по земельному устройству трудящихся евреев СССР, содействовало переселению евреев в Биробиджан и другие автономии.

остановились в Москве, где впервые познакомились с достопримечательностями столицы, зашли в редакцию «Дер Эмэс» («Правды») и накоротке познакомились с редактором М. Литваковым.

От Москвы до Биробиджана мы ехали двенадцать суток в общем вагоне на верхних полках. Нас очаровали красивые пейзажи огромной страны. Безграничные поля и леса, реки и озера. Мы не могли оторваться от зрелища кристально чистого Байкала с многоцветными в закате солнца горами. Генех уже здесь в вагоне сочинил стихотворение о прекрасном море. Он и здесь остался верен себе и завел мимолетный роман с молоденькой блондинкой, которая отправилась в Биробиджан искать свое счастье. Это было в его вкусе. Со мной же в пути приключилось такое происшествие.

В Новосибирске я выскочил из поезда со своим котелком, чтобы в вокзальном ресторане купить для себя и моего друга горячий обед. Мелочи у меня не было, и, пока кассир отсчитывал мне сдачу с моей сотни, я увидел через окно, как поезд отходит от платформы. Меня охватил страх. Не пересчитав сдачу, я с полным котелком борща в руке, молнией выскочил на перрон и начал догонять поезд, развивший изрядную скорость. На ступеньке вагона стоял Генех с протянутой рукой, чтобы взять у меня котелок, при этом он во весь голос кричал, подбодряя меня в моем беге. Я уже близок был к цели, как вдруг обо что-то споткнулся и вытянулся на земле во весь рост. Горячий борщ хлюпнул мне прямо в лицо и ослепил меня. Сам не знаю, как я поднялся и вскочил на самую последнюю ступеньку быстро мчавшегося поезда. Пройдя через несколько вагонов, я добрался до своего места. Увидев меня облитым с головы до ног борщом и с пустым котелком, Генех разразился своим заразительным смехом. За ним рассмеялись все пассажиры в вагоне. Мне же было тогда не до смеха, я даже обиделся на своего товарища. Правда, ненадолго. Если не считать «вагонный» роман Генеха и мою «борщовую эпопею», наше многодневное путешествие на Дальний Восток прошло благополучно.

Прибыли мы в Биробиджан глубокой ночью. Новый вокзал еще не был закончен. «Приземлились» мы в одноэтажном тесном станционном помещении, едва освещенном, битком набитом пассажирами, в большинстве своем евреями и корейцами. Это была станция Тихонькая<sup>1</sup>. Первое впечатление от края-мечты, как говорится, неважное. Но молодости дано драгоценное чувство оптимизма — не вешать нос. Настроение у нас было приподнятое, так как мы прибыли на место. Мы шутили, баловались, вызывая недоумение у пожилых озабоченных и не выспавшихся пассажиров, а когда один из них, услышав, как корейцы говорят между собой, сказал своей жене: «Слышишь, Броха, лучше лежать в земле, чем иметь такой язык», — веселый Генех разразился таким хохотом, что дремлющие пассажиры проснулись и один у другого испуганно спрашивали: «Что случилось?»

С восходом солнца мы вышли наружу и очарованы были чудесным пейзажем. Брюхатые сопки покрыты еще седым туманом, но их вершины, позолоченные осенним солнцем, уже явственно обозначились на фоне неба. Было трудно оторвать взгляд от этого зрелища. Сам город не ошеломил нас своим видом. Несколько двухэтажных деревянных домов без всяких прикрас. Но это нас не разочаровало. Строительство здесь только началось.

Оставив вещмешки на переселенческом пункте напротив вокзала, мы тотчас же отправились в редакцию «Биробиджанер штерн», куда мы собственно и прибыли на работу. Помещение редакции находилось вблизи вокзала на первом этаже городского совета и занимало лишь три небольшие комнаты. Редактор газеты Бузи Гольденберг принял нас очень дружелюбно, как старых добрых знакомых еще из Харькова, где он редактировал «Дер штерн». Он сам приехал в Биробиджан несколько месяцев раньше после смерти своего предшественника Генеха Казакевича. Бузи Гольденберг представил нас коллективу редакции, сказал о нас несколько теплых слов и определил нас, как литературных сотрудников. Всё

---

<sup>1</sup> Станция Тихонькая, впоследствии Биробиджан.



в редакции и всё здесь нам понравилось. Единственное, что беспокоило — нам негде было жить. Но мы были не единственными. Мы приехали сюда в самый разгар переселения в Биробиджан и бедному жилому фонду города было не под силу удовлетворить потребности новых переселенцев. Тот же самый Бузи Гольденберг не имел отдельного жилья. Вместе с писателями И. Рабиным, С. Кли-  
теником и Нотэ Вайнгойзом он жил в общежитии — все без семей, ожидая очередь на квартиру. Впрочем, в их большой комнате, как водится у холостяков, было всегда весело.

Меня с Генехом редактор решил поместить в маленькую комнату, где проживала также уборщица редакции, как ее называли, Мадам Каминская, вдова уже в годах. Попасть ей на язык было хуже, чем угодить в огонь. С утра и до вечера она беспрерывно трещала, как трещотка. Она собирала все сплетни со всего города и передавала все новости раньше, чем телеграфное агентство. Комната находилась в конторе областного комитета Красного Креста, и каждый день председатель этого комитета Изгур грозился выдворить нас из своего королевства.

Мадам Каминская вскоре оставила наше общежитие, так как Генех ее до смерти донимал своими хохмами и проделками. Так мы остались в комнате вдвоем. Правда, счастье длилось недолго. Но об этом немного позже.

Мы с Генехом включились в работу редакции душой и телом. Мы искали новые формы для своих корреспонденций в газету, вместо устоявшихся трафаретов, сухого «марания», как мы это называли. Это все скоро заметили и существенно оценили. Я помню, как поэтесса Люба Вассерман однажды вошла в редакцию со свежим номером «Биробиджанер штерн» и громко, так, чтобы все слышали, заявила, что наконец-то в газете появилось свежее течение. Ей очень понравился мой отчет о собрании в корейском колхозе, в котором я попытался в форме живой зарисовки передать выступления присутствовавших. Заметки в газете я подписывал псевдонимом Б. Бин. Этим я стремился себя самого и всех вокруг убедить, что мои

корреспонденции — это не самое важное в моей творческой работе и что не этим я хочу отличиться. Мое кровное дело — это художественная литература: проза, рассказы, которые я гордо подписывал своим полным именем. Бузи Гольденберг был доволен нами. Вообще, ему импонировало наше стремление выезжать в самые глухие уголки области, куда сотрудников старшего поколения обычно приходилось заставлять ехать почти что силой.

Для меня не было большего удовольствия, чем путешествовать по области, посещать отдаленные селения, бродить по тайге. В то время редакция не располагала никаким транспортом, и пройти пешком десятки километров было делом обычным. Пешеходом я был блестящим. Могу смело сказать, что я исшагал область вдоль и поперек. Самое большое впечатление на меня произвели красоты Бирокана с ее мраморными сопками и заснеженной тайгой вокруг. Незабываемую картину представляли собой почти зеленые под зимней луной снежные горы, сверкавшие так, как будто были усыпаны благородными камнями. Впрочем, Бирокан и была моей первой вылазкой из редакции. Этот первый дебют мой чуть не закончился для меня трагически и его стоит описать немножко подробней.

В конце ноября 1936 года в краю установилась погода с сильными морозами. Просто дух захватывало. Вот в такие дни мы с еще одним сотрудником редакции Садовским получили задание выехать в тайгу и подготовить материал для газеты о евреях на лесоразработках. Садовский, переселенец из Белоруссии, в толстых очках на горбатом красном носу, выглядел тогда в моих глазах уже пожилым мужчиной, хотя ему и сорока не было. Он попробовал отказаться от этого путешествия, но успеха не имел. Я, разумеется, с радостью воспринял предстоящую поездку. Быть в глубине тайги, пощупать ее собственными руками — об этом я уже давно мечтал.

Пуститься в дорогу в такие морозы в шинели, которую я успел купить у мужа нашей бухгалтерши (тогда шинель была популярной верхней одеждой), не могло быть даже и речи. Но свет не без добрых людей и кто-то из моих знакомых одолжил мне большой

тяжелый козух, в котором могли втиснуться трое таких, как я. У других я одолжил пару валенок-катанок и айда в путь.

В Бирокан мы ехали поездом. Садовский был мрачен, курил одну папиросу за другой и почти не разговаривал со мной — как будто я был виноват в том, что он должен был оставить теплую квартиру. Его, должно быть, огорчало мое приподнятое настроение. В Бирокан мы приехали вечером, когда в замерзших окнах домиков на высоких заснеженных сопках зажглись огоньки.

Переночевали мы у очень славных людей — переселенцев из Литвы, которые недавно закончили строить свой дом и теперь наслаждались своим творением.

Назавтра председатель местной лесной артели выделил для нас лошадь с санками и нас отвезли в сопки в карьер, где добывали мрамор — чудесный бироканский мрамор всех расцветок, который теперь украшает станции метро в Москве. На наших глазах каменные блоки, только что вырванные из сопки при помощи точильных камней, превращались в великолепные отполированные мраморные плиты всех цветов радуги с фантастическими прожилками. Обо всем этом я позже написал очерк.

После обеда, закутанные в наши роскошные до самых ушей тулупы, в санях, высланных пахучим сеном, мы выехали из Бирокана в тайгу на участок, где валили лес. Нас сопровождала молодая женщина — библиотекарь лесной артели, которая везла с собой книги и газеты для рабочих. Она нам сказала, что дорога ей хорошо знакома, что дорога эта лишь одна единственная, так что лошадь сама нас довезет до места, и мы вполне можем обойтись без ездового. И вот мы выехали втроем. Это было 30 ноября 1936 года — в день моего рождения.

Мы спустились с Бироканских сопки, пересекли железнодорожную линию и углубились в тайгу. Мороз стоял страшный, но ни одна иголочка на высоких гордых соснах не шелонулась. Наши брови покрылись морозом, дышать становилось все тяжелее. Колея между сугробами снега была хорошо утоптана и сани

плавно и легко скользили, все дальше и дальше углубляясь в тайгу. Мы все молчали. Для разговоров не хватало дыхания. Прижавшись инстинктивно один к другому в маленьких санях, чтобы было теплее, каждый из нас ткал свою мысль. Я сам себе отдавал отчет за свои восемнадцать лет, и мне казалось, что я проделал такой большой жизненный путь. И еще я думал: может ли даже присниться моей нежной подруге в Харькове, как я отмечаю свое восемнадцатилетие? Как хорошо было бы, если бы она была вместе со мной. В редакции, наверно, ждет уже письмецо от нее. Как только я прибуду в Биробиджан, я напишу ей, чтобы она приехала ко мне. Я уже договорился с одним из наших сотрудников, что мне продадут за 400 рублей домик, правда, на куриных ножках с почти провалившейся крышей, но ничего, там нам будет совсем неплохо. В конце концов, мне уже 18 лет — совершеннолетний.

Перебирая все это в своих мечтах, я даже не заметил, как вдруг сразу стало темно и пальцы ног заоченели. Дорогу, деревья уже не было видно. Но лошадка продолжала свой монотонный бег и везла нас как будто в пропасть.

Должно быть мороз усилился. Холод добрался до рук, пронизал все тело, ноги я совсем уже не чувствовал. Часов ни у кого из нас не было и казалось, что мы едем уже бесконечно долго. Мы начали беспокоиться. На всех напал ужас. Наша спутница на все наши вопросы отвечала как-то неуверенно, и тут еще надо было случиться, что лошадь вдруг остановилась. Тогда я, замерзший до самых костей, вылез из саней.

Почву под собой я абсолютно не ощущал. Еле-еле мне удалось за-костеневшими руками зажечь спичку и поджечь немного сена, вытащенного мною из саней. Отсветы огонька выхватили кусок мрака, и меня охватил страх. Дорога, как рогатка, расходилась в два разных направления. Садовский лежал в санях неподвижно и безмолвно без признаков жизни. Моя спутница тоже выскочила из саней и стояла ошеломленная. И, видя ее растерянность, я понял, что мы, вне всякого сомнения, заблудились. Легко сказать заблудились. Ночь.

Тайга. Страшный мороз. Что делать? Куда ехать? Налево? Направо? Между слабо освещенными костром соснами появились тени-призраки в форме диких зверей — это были миражи в глазах замерзшего перепуганного человека. Нет, возвратиться назад, еще раз проехать такое расстояние — это был смертельный приговор! Что же делать? Замерзнуть в тайге в восемнадцать лет? Не очень радостная перспектива. Наша спутница все еще слабым голосом утверждала, что по времени мы уже должны были быть на месте. Мол, сколько раз она сюда ездила, дорога здесь никогда не раздваивалась. Я не знаю откуда, но у меня как-то сразу появилась решительность. Вероятно, такая решимость возникает лишь в экстремальных обстоятельствах, как реакция самозащиты. Я взял вожжи и пугающим голосом погнал лошадь, доверившись полностью инстинкту животного и чувству своего собственного фатализма. В какую сторону поведет лошадь — туда и поедем. Лошадь повернула вправо и начала быстро бежать. Но здесь нас подстерегал новый сюрприз.

Пробежав короткое расстояние, лошадь снова остановилась, словно приросла к месту. Это уже было чересчур. Я снова вылез из санок, зажег спичку, и моим глазам предстала следующая картина: лошадь стоит у небольшой скирды и с аппетитом уплетает сено. Дальше за скирдой дороги нет. Сначала мне стало нехорошо на душе, но потом я сообразил, почему лошадь свернула направо. Я быстро развернул сани, возвратился к развилке и мы поехали в другом направлении — налево. И когда вскорости до нас донесся запах горящего дерева и между деревьями засверкало несколько огоньков, меня охватила такая необыкновенная радость, которую я передать теперь не в силах. Я лишь помню, что у меня застрял какой-то комок в горле, мороз тотчас же исчез из моего тела. Я изо всех выкрикивал какие-то бессвязные слова.

И вот мы уже в бараке, в теплом бараке с докрасна натопленной железной печкой, в которой трещат горящие сухие дрова. Вокруг нас возятся мужики в нижнем белье, излучающем теплоту. Они снимают с нас тулупы, валенки, растирают нам руки, ноги, лицо,

преподносят нам в железных кастрюльках горячий чай, кто-то наливает нам спирт и заставляет выпить.

Однажды, когда дедушка еще совсем мальчишкой взял меня с собой в синагогу, я уже пробовал этот горький напиток и после этого забрался на кладбище, лег животом на старое надгробие, катался от болей в животе и ждал смерти. Теперь же после нескольких глотков горячей жидкости по всем моим внутренностям разлилось чудесное тепло, и мне сразу стало так легко и хорошо в окружении этих теплых лесных людей, что захотелось каждого из них обнять и сказать: «Дорогие вы мои люди».

Скорее всех пришел в себя я. Наша спутница также быстро очнулась. Хуже было с Садовским. Лицо у него было обмороженным. Сердце у него шалило и с ним пришлось долго повозиться. Нас положили спать на деревянные нары, застеленные тулупами. Очень долго я не мог заснуть. Боль в пальцах ног доходила до самого сердца, в голове немножко шумело от выпитого спирта. Мысли мои путались между моим детством и моими восемнадцатью годами в темной холодной тайге. Встал я рано. Через замерзшие оконца барака врывались скупые солнечные лучи. Рабочие давно уже отправились в тайгу на работу, и за длинным столом у печки сидел лишь один человек — широкоплечий с густой шевелюрой рыжих волос на голове и как бы бронзовой бородой. Он был поглощен чистой охотничьего ружья. Садовский еще спал, накрывшись с головой своим пальто. Представительница культуры возилась у печки с горшком картошки.

Во время завтрака я познакомился с «бородой». Это был охотник средних лет, нашедший здесь в бараке ночлег. Мне было очень интересно беседовать с ним, расспрашивать его о тайге, о зверях, об охоте. Он охотно рассказывал обо всем, а я, глядя на него, рисовал в мыслях образ лесного человека — романтика, который оставил цивилизацию и ушел в природу. В моих мыслях уже ткался рассказ. Но мечты остаются мечтами, а работа есть работа. Я сюда прибыл с заданием редакции.

Садовский был не в состоянии выйти наружу. Его худые щеки были в синяках, он сидел, скорчившись на своей постели, как будто вчерашний мороз еще не вышел из него, и ел картошку из жестяной тарелки. Я попросил моего нового знакомого отвести меня к лесным рабочим. Мы вышли. Лесная поляна вокруг барака была залита ясным светом морозного утра. Вокруг, как в плотном заборе, стояли огромные стройные сосны с золочеными от солнца кронами. Глубокий снег звонко скрипел под ногами. Неподвижный воздух был насквозь пропитан терпким запахом сосны. Мне так хотелось по пути встретиться с каким-нибудь зверем — с медведем, с волком и принять участие в охоте. Но как назло вокруг нас не было и следа живого существа. Лишь сосны, сосны и сосны.

Точно ребенку, которому хочется нажать на курок только что приобретенного игрушечного ружья, мне хотелось выстрелить первый раз в жизни из настоящего ружья. Охотник широко улыбнулся в свою бронзовую бороду доброй усмешкой, с которой уступают капризу ребенка, и разрешил мне выстрелить. Выстрел прогремел с необыкновенной силой и разбудил всю округу. Эхо как будто заблудилось между деревьями и осталось висеть на неподвижных ветвях. Не знаю сам почему, но мной овладела мальчишеская гордость. Как-никак, а я бродил по тайге вместе с настоящим охотником и стрелял из ружья. Я обязательно расскажу об этом моим знакомым и напишу Ей в Харьков. При этом я добавлю, что я не просто так стрелял, а целился в медведя, — ведь все охотники любят что-нибудь присочинить в своих рассказах. Мне стало уютней на душе от таких мыслей и мне вдруг пришли на память строчки И.Л. Переца, с которыми я выступал на утреннике в детском саду:

*Янкеле хочет охотником стать,  
Янкеле хочет охотником стать.  
Только медведя он хочет стрелять.*

Утоптанная санями дорога все дальше и дальше уводила вглубь тайги, и вот донеслись до наших ушей своеобразные звуки электропил. Мы ускорили наши шаги и скоро вышли на лужайку, вокруг которой рабочие в полушубках и в больших меховых рукавицах валили лес. Они были слишком заняты своим делом, чтобы обращать на нас внимание. Но зато я был не в состоянии оторваться от завораживающей картины: электропила вгрызалась острыми зубами в могучий ствол сосны; казалось, она никогда не одолеет гиганта, но медленно и упрямо, стелая и напевая, она все больше и больше погружалась в ствол. Еще мгновение, и она показывается с другой стороны дерева. Внезапно пила замолкает. Два здоровых парня отходят от дерева, оглядывают его со всех сторон, спорят, в какую сторону надо валить, потом при помощи большого крюка упираются в гиганта со всей силой, и вот дерево начинает падать. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее. Над тайгой разносятся его ужасные предсмертные стоны, с его кроны сыплется, как водопад, серебряный снег. Еще один последний стон вырывается из его тела, и вот оно лежит, побежденное. Его победители стоят несколько мгновений неподвижно в стороне, словно они еще не уверены, что сосна не встанет снова.

Это было незабываемое зрелище, которое еще не раз являлось мне во сне. После обеда, когда в моем блокноте уже были записаны беседы с крепкими, пропитанными запахом смолы, таежниками, мы оставили теплый барак. Теперь мы с Садовским лежали укутанные в наши тулупы, накрытые сеном, в просторных санях, и бравый парень на передке погонял двух вороных рослых жеребцов по дороге в Кумкан. Библиотекарша еще до нас на своих санях выехала обратно в Бирокан.

В Кумкан мы благополучно прибыли, когда начало темнеть. Особого впечатления на нас это маленькое селение не произвело. Но ночь, которую я там провел, ожидая поезд в Биробиджан, у меня в памяти осталась.

Вместе с Садовским мы остановились в хорошо натопленной избе у одного еврейского переселенца из Украины. Узнав, что мы



из редакции, хозяин нас очень радушно принял, правда, он слишком много говорил и метал гром и молнии на начальство своей артели и просил нас написать об этом в газету. До отправления поезда у нас оставалось еще 6—7 часов, и гостеприимные хозяева положили нас спать в свои постели. Сами они устроились на кухне. В керосиновой лампе светил слабый огонек. Садовский сразу же уснул с музыкальным храпом. А я, как только лег, сразу почувствовал, как на меня напала целая армия кровожадных клопов, которые рвали меня на куски. Долго выдержать эту экзекуцию я не мог. Я соскочил с кровати, оделся и, чтоб никто не услышал, тихо вышел на улицу и отправился к полустанку недалеко от селения. Вокзал Кумкан представлял собой дощатый сарай, чтобы не сказать больше, освещенный фонарем «Летучая мышь». В середине здания «буржуйка» времен гражданской войны, в которой едва тлел огонь. Кроме меня, там не было ни одного пассажира. По ту сторону дверей, в соседней комнатке на скамейке спал дежурный. Чтобы не замерзнуть, я быстрыми шагами мерил зал. На душе у меня было нехорошо. Я вспомнил заезжий двор в рассказе Шолом-Алейхема с его клопами и горько про себя усмехнулся.

Часа в три ночи с замерзшими одеревеневшими ногами я сел в вагон поезда. Садовский же, как оказалось, крепко спал со своими клопами до самого утра и проспал поезд. В Биробиджан я прибыл перед обедом и сразу же отправился домой переодеться. В комнате было тепло, как никогда, и я очень хорошо подумал о моем друге: это он, Генех, натопил печку, готовясь к моему приезду.

Я открыл дверку печки, посмотреть на горящие дрова, но к своему удивлению не увидел там огня — лишь немного золы. Пощупал печку — она холодная. Я остановился в недоумении — что это значит? Печь не топлена, на дворе мороз, а в комнате тепло. Но тут мой нос учуял угар, и я почувствовал, как горячий поток воздуха идет с потолка. Я вскочил на стол, пощупал суфит над печкой и ожег себе руку. Недолго думая, я вошел в соседнюю комнату — канцелярию «Красного креста». Там печка, имевшая совместный

дымоход с нашей, была просто накалена, и я догадался, что здесь не все гладко. Мое подозрение разделили люди из канцелярии.

Через несколько минут у нас дома уже были пожарники. Топо-рами они вскрыли потолок, и оттуда полыхнуло большое пламя — горели балки возле дымохода. В доме началась паника. Визг, крики соседей и детей, через окно летело постельное белье, одежда, мебель — словом погром. Генех прибежал из редакции, когда пожар уже был потушен.

Вот такую встречу я имел после моей поездки в тайгу. Вот так мы остались без крыши.

Первые ночи мы ночевали на диване и скамейках редакции. Через несколько дней Генеха взяли в армию, и я остался один. К этому времени у меня разыгралась страшная зубная боль и опухла щека. Из жалости взяли меня на квартиру к себе в том же доме, где я проживал, две славные учительницы — уже немолодые девушки, которые нежно за мной ухаживали. Мадам Каминская, злорадствующая по случаю пожара и без внимания которой не могло обойтись ни одно событие, ни один человек, немедленно растрезвонила в редакции и в городе: «Блинчики они ему готовят...» После учительниц я снял угол в еще не законченном доме, где жил фотограф со своей семьей. Хозяин — рыжеватый еврей, страшный пьяница, забросил строительство дома и большей частью проводил свое время в ресторане за бутылкой. Вскоре, после моего переезда, его нашли мертвым, замерзшим на улице. Дом стоял с незаконченной крышей, и я целые ночи не спал из-за жестокого холода.

Я уже не помню подробности, каким образом, но через короткое время мне пришлось ночевать у писателя Гирша Добина вместе с Бузи Миллером. Добин тогда лечился в Крыму от цинги. Бузи Миллер, дожидаясь квартиры и своей жены, учившейся в Москве, жил тогда у Добина и, чтобы избежать сплетни, связанной с тем, что он остался в квартире один с симпатичной женой Добина, пригласил меня к себе, где мы и спали с ним в одной кровати. Он даже попросил меня написать об этом своей жене, с которой я хорошо был знаком.

Бузи Миллер был очень приятный скромный человек, я бы даже сказал — стеснительный. Он любил читать мне Стефана Цвейга, передавая свое восхищение им. О Гирше Добине я писал раньше, когда вспоминал встречу с Довидом Бергельсоном. Но вот еще один эпизод.

Это случилось вскоре после моего прибытия в Биробиджан. Мы с Генехом Койфманом жили в одном доме с Гиршем Добиным. Длинный коридор, куда выходило много соседских дверей, не освещался — с электричеством тогда было туговато и даже в учреждениях и квартирах часто пользовались керосиновыми лампами. Однажды поздно ночью мы с Генехом сидели у себя дома. Генех сочинял стихотворение, я читал. Вдруг в абсолютной тишине мы услышали как кто-то осторожно пробирается по коридору шаркающими шагами. «Вор», — на полном серьезе шепнул мне Генех. Я уже готов был поверить. Вокруг города были лагеря для уголовных преступников, и в городе было совсем не спокойно. Мы оба ближе подошли к двери и с затаенным дыханием прислушались к подозрительным шагам.

«Вор!» — еще раз повторил Генех и схватил топор. Я не успел даже открыть рот, как Генех открыл дверь и с поднятым над головой топором выскочил в коридор и во весь голос загремел: «Руки вверх!». С душераздирающим женским криком кто-то упал на пол. Соседи выбежали из своих квартир и, когда осветили коридор, увидели на полу... жену Добина. Она была в глубоком обмороке и соседки немало с ней повозились, пока она пришла в себя. Добина тогда не было дома. Вернувшись через несколько дней из командировки и узнав, что случилось с его женой, он разыскивал Генеха, чтобы устроить ему взбучку. Нелегко было остудить горячего писателя.

Когда Добин вернулся из Крыма, я снова стал бездомным и ночевал, где попало: в редакции, у бухгалтера, которая ко мне относилась с сочувствием, у знакомых. Наконец-то я добился собственной комнатухи — напротив редакции, где жили некоторые наши сотрудники и поэт Бузи Олевский со своей женой. Не знаю, можно ли было назвать комнатой каморку на

втором этаже, которая предназначалась под кладовку и имела площадь около 3-х метров. Для меня эта крохотная комнатка была чудесным дворцом. Это была в моей жизни первая самостоятельная жилплощадь, и я не мог насладиться ею досыта. К тому же мне не надо было ее топить: моя стена нагревалась от печки моих соседей — молодоженов-педагогов.

Я взялся рьяно обустроить и украшать свое гнездо. Железная койка от окошка до дверей, столик, табуретка, книжная полка на стене, примус, ведро для воды под кроватью — это было все мое имущество. В свободное время я с удовольствием лежал на моей кровати с книжкой, или сидел у столика и что-то писал. Но недолго длился мой рай. До тех пор, пока парочка с той стороны переживала свой медовый месяц, я был счастлив вместе с ними. Было тепло в моем дворце — одно наслаждение. Но вскоре они начали вздорить между собой и потом отправились к себе домой — каждый к своим родителям. И я остался один без всякого топлива и снова испытал на себе страшный холод Дальнего Востока. Так продолжалось до самой весны.

Как я уже писал, атмосфера в редакции была благожелательной и дружелюбной. Это было заслугой Бузи Гольденберга, редкого умницы и эрудита, прирожденного редактора, обучавшего каждого из нас журналистике. Его помощник, ответственный секретарь Нохем Фридман, чье широкое кресло у стола было ему слишком тесно, холостяк уже в годах, с румяным полным лицом, еще более красневшим, когда кто-то в его присутствии касался «деликатной» темы, с толстыми стеклами очков, был незаменимым человеком в редакции, тянувшим на своих плечах самую тяжелую работу. Он мог сутками сидеть в своем кресле и делать газету. Ежедневно, на правах вольнонаемного в редакции появлялся Эма Казакевич. Он работал переводчиком. Сын недавно умершего редактора Генеха Казакевича, директор местного театра, поэт, неутомимый шутник и хохмач, он в свои 23 года чувствовал себя везде всеобщим любимчиком, которому все дозволено. И он нередко «выдавал» мальчишечьи проделки не лучшего образца.

Из почти всегда завязанной шеи Эмы просто была радость жизни. На наших праздничных вечерах он всегда был тамадой, импровизировал, сыпал шутками, декламировал, пел и зажигал жизненной энергией всех присутствующих. Я помню как однажды, во время моего последнего праздничного вечера в Биробиджане, у густо заставленных столов, когда народ уже был немножко навеселе, мне захотелось прочитать веселую народную сказку, которую я записал со слов моей матери. Не успел я еще прочитать первую строку, лишь начал «Когда-то была...», как Эма Казакевич оглушительно запел из популярной песни: «Когда-то была...» и вся уже подогретая компания и я сам подхватили песню.

Совместно с Эмой Казакевичем и Бузей Гольденбергом я принял участие в переводе для газеты большой песни казахского поэта Джамбула. Перевод мы подписали ЭмБинГольд (Эма, Бениамин, Гольденберг). Мне было очень приятно, когда Эма высоко оценил мой рассказ, напечатанный в газете «Парашютист». Много лет спустя, когда Эма Казакевич уже был известным прозаиком — лауреатом государственной премии, мы с ним встретились на улице в Херсоне, где я тогда работал. Эма спешил в редакцию областной газеты на литературную встречу в его честь. Он меня обнял и настоял, чтобы я пошел вместе с ним.

После этой литературной встречи мы еще долго шагали с ним по Херсонским улицам, вспоминали Биробиджан, нашу редакцию, друзей. Он мне рассказывал о своей жизни в Москве, при этом шутил: «Я такой же, как Тевье с дочерьми»; о своих творческих планах и напоследок покаянным тоном извинился передо мной за то, что годами раньше ему пришлось так непорядочно со мной поступить. Я спокойно ему возразил и заверил его, что не ношу на него в душе никакой обиды и зла — такое было время. Но об этом немного позже.

В редакции тогда работал также писатель Сальвадор Боржес — маленький, немного горбатый, с редкими волосами на голове, нервный. Его настоящее имя было Бецалель Бородинный.

Псевдоним он привез с собой из Рио-де-Жанейро, где он жил порядочное время. О столице Бразилии он написал книгу. Боржеса я знал еще с харьковских времен. Мы жили недалеко друг от друга и нередко встречались в литературных кругах. В Биробиджане мы с ним встретились как старые друзья и еще больше подружились.

Из редакционных сотрудников мне запомнились Кардонский, Кизер — профессиональный лгун, Перецман, с декольтированной женой которого был роман у Бузи Гольденберга, Финкельштейн — заместитель главного редактора, «ягненок», так мы его называли — маленький, кругленький, как мячик, всегда с трубкой в зубах, что должно было придавать ему солидный вид. «Ягненок» в 1937 году приложил немало усилий, чтобы устранить Бузю Гольденберга, и своего добился. Какое-то время этот тип занимал должность главного редактора, но недолго. Копая ямы для других, он сам себе сломал голову, и никто ему не выказал сочувствия.

Весной 1937 года в Биробиджан приехал Борис Гейман, с которым мы были хорошо знакомы еще с Харькова. Обмененный подпольщик молодежного движения в капиталистической Латвии, он работал в редакции «Юнге гвардии», где мы часто встречались. После ухода Генеха Койфмана в армию мы с Борисом близко сошлись, хотя он был старше меня на целых шесть лет и был папашей двух сыновей. Мы вместе писали материалы для газеты, вместе проводили время, и нередко он ночевал у меня в комнате, где мы спали на моей койке валетом. Выпускающий Саня Розенфельд, красивый скромный парень, всегда измазанный типографской краской, и очень подвижная машинистка Фрума, не имеющая в своей профессии равных себе, замыкали собой наш небольшой коллектив.

Очень часто приходили в редакцию писатели Рабин, Клитеник, Вайнгойз, Добин, Миллер, Олевский, Рабинков, автор фильма «Искатели счастья» — Кобец, белорус по происхождению, влюбленный в Дальний Восток. Каждый из них приносил в редакцию какую-то новость, хохму, дискутировал о новом рассказе или песне.

О моих встречах с Довидом Бергельсоном я рассказывал отдельно, но вот вспомнилась еще одна короткая встреча с великим писателем. Это было в 1937 году, когда писатель объявил всему миру, что он навсегда поселяется в Биробиджане. Это известие было воспринято с большим удовлетворением его почитателями, и однажды к нам в редакцию пришла телеграмма из Москвы на имя Бергельсона от самого Леона Фейхтвангера, который тогда гостил в советской столице. В этой телеграмме Фейхтвангер приветствовал своего коллегу и его решение поселиться в Биробиджане. Я, самый младший и самый проворный, схватил телеграмму и побежал в гостиницу к Бергельсону, переполненный гордостью, что держу в своих руках телеграмму от одного всемирно известного писателя к другому...

Бергельсон прочитал телеграмму и самодовольно обратился ко мне: «А? Что Вы скажете? Бергельсона не забывают. Большое спасибо вам, молодой человек, за услугу. Вот я сейчас же сяду и отвечу моему другу».

Ах, как не хотелось уходить из этой комнаты. Но я понимал, что Бергельсону сейчас не до меня и простился с писателем.

## 37-й. Прощанье с юностью

Осень 1937 года началась трагически для нашей редакции. Наш редактор Бузи Гольденберг был отстранен от должности и исключен из партии. Вместе с ним был исключен из партии Ноте Вайнгойз и Клитеник. Кресло редактора занял наш «Лемл» (недотепа Финкельштейн), который уже давно зарился на это место. Для всех нас в редакции настали черные дни... Сухой, несимпатичный человек, космически далекий от газетного дела, начал вводить у нас новые порядки, граничащие с казарменным режимом...

Примерно через месяц пострадавшие были восстановлены в своих должностях и на горизонте появились проблески света.

Это известие мы встретили, как праздник, и как доброе предзнаменование в эти беспокойные и тяжелые дни 1937 года. Но торжествовать было рано. Не прошло и двух недель, как ряды наших редакционных сотрудников начали таять. Каждый раз кого-то недоставало на работе... Тучи снова заволокли небо...

В один из ноябрьских вечеров я отправился к моему товарищу Борису Гейману на новоселье. В новой квартире еще было сыро от краски, еще не успели высохнуть полы. Новоселье мы отметили водкой и печеной картошкой. Настроение Бориса было особенно приподнятое: его жена и ребенок были уже на пути из Харькова и должны были приехать через пару дней. Мы пели с ним еврейские песни и наш гимн:

*Ну и жизнь  
тяжко, горько,  
тяжко, горько,  
словно смерть...*

В полночь я оставил своего товарища. На другой день утром Борис на работу не вышел; он не вышел также на другое утро и еще много, много дней... Мне трудно было в мои девятнадцать понять, что происходит вокруг меня: люди, которых все уважали, люди с заслуженным прошлым, преданные душой и телом идеям революции, которые на своих плечах вынесли царские тюрьмы и каторги, через бои и борьбу совершили революцию, стали вдруг врагами народа. Об этом тяжело писать. Каждое воспоминание о тех днях вызывает ужас. И хотя уже прошло столетие, насыщенного войнами, различными большими и малыми событиями, год 1937-й останется в нас как дурной сон, не вмещающийся в человеческий разум.

В такой обстановке уже никто не был уверен, что завтра, вернее сегодня ночью, за ним не придут, и, прощаясь после работы в редакции, мы с нею обреченностью смотрели один другому в глаза: увидимся ли мы еще завтра...



29-го ноября, накануне своего девятнадцатого дня рождения я получил письмо от матери из Харькова, полное слез и отчаянья: 15-го ноября моего отца забрали...

Правду говоря, я уже много дней со страхом ждал этого страшного известия. За месяц перед этим я был в отпуске у своих родителей и видел как наш дом, где жило много ткачей с фабрики «Красная нить», прибывших из Польши, изо дня в день пустел... По ночам мы не спали и через окно подглядывали за «черным вороном», приехавшим за очередной жертвой.

У моих родителей, как у многих других, лежали приготовленные узлы. Я до конца своих дней не забуду, как мой бедный отец на рассвете стоял перед моей койкой со слезами на глазах и обреченный, растерянный, словно он стоял на краю ямы, просил у меня помощи, чтобы я его спас от ада. Его слезы причиняли почти физическую боль. Я его успокаивал, утешал, что его никто не тронет, что чище его никого нет. Я сам хотел в это верить. Я был молод, полон жизни и веры. Я знал, что наши друзья и знакомые невиновны, что, в конце концов, их всех освободят. Может, не дойдет до того, чтобы моего отца забрали? Из всех польских рабочих он один оставался на свободе... С такими надеждами и мыслями я простился с моими родителями на харьковском вокзале во время моего отъезда в Биробиджан, куда я возвращался из своего отпуска. Больше я своего отца уже не видел...

И вот день 29-го ноября. Это был день перелома в моей жизни. Мне кажется, что у каждого человека, стоит ему лишь покопаться в своей жизни, есть такой день, когда его дорога вдруг сходит с колеи, сворачивает на боковую стезжку в другом направлении и переворачивает с ног на голову всё, что до сих пор казалось ему естественным. Излишне передать то впечатление, которое произвело на меня сообщение матери. Перед моими глазами возникло видение, как выводят моего отца с бледным, помертвевшим лицом, как мать с заплаканными глазами провожает его к порогу... увижу ли я снова своего отца? Долго ли будет длиться этот кошмар?

Я хорошо понимал, что мои солнечные дни закатились, и вместе с ними закончилась моя молодость. Я стал вдруг старше, серьезнее. Сидя окоченевший в моей холодной комнатке с письмом в руках, я долго не мог решить, как мне поступить в моем положении. Никому ничего не рассказывать и продолжать свою жизнь, будто ничего не случилось? Нет. Я знал, что все равно известие об аресте отца дойдет до соответствующих органов. Кроме того, я буду не в состоянии жить и работать, чувствуя себя «преступником», скрывающим свое «преступление». Пойти с «повинной». Последнее означало расстаться со своей работой, с городом и, возможно, со свободой. И что дальше? В полном отчаянье я в тот же вечер отправился домой к моему редактору Бузе Гольденбергу. Наверное, на моем лице было написано мое несчастье.

— Что случилось? — с беспокойством посмотрел он на меня и его взгляд говорил о том, что он догадывается, с чем я к нему пришел.

Когда я ему сказал о письме моей мамы, его красивое лицо как бы затуманилось; он закрыл глаза, еще туже укутался в свой короткий черный полушубок, свисавший с его плеч и, сидя на койке, оперся головой о стену. Долго он молчал, потом слабым голосом промолвил:

— К великому сожалению, Бениамин, нам придется расстаться.

Другого ответа я от него не ожидал. А дальше все пошло быстро-быстро, будто я катился с горы. Наутро я написал в комсомольскую ячейку об аресте моего отца. В тот же день наш комсомольский секретарь Эма Казакевич созвал экстренное совещание ячейки, где обсудили мое заявление. Совещание прошло очень тихо и скоро. Никто не выступал. Все прятали глаза, будто боялись смотреть на меня. Эма Казакевич виноватым голосом спросил у меня, признаю ли я, что мой отец враг народа, и отказываюсь ли я от него? Я твердо, внятно отрезал:

— Нет, никогда — мой отец не враг народа!

В комнате редакции стояла мертвая тишина. Эма медленно поднялся и, почти не глядя в мою сторону, произнес:

— Ну, в таком случае, тебе придется положить комсомольский билет.

Я молча положил на стол мой комсомольский билет, который я получил в четырнадцать лет еще в школе при такой торжественности...

В тот же день был подписан приказ, в котором было указано: Бранда Б.В., в связи с арестом его отца органами Н.К.В.Д.<sup>1</sup>, с работы в редакции снять, так как он не заслуживает политического доверия. С таким «волчьим билетом» мне предстояло отправиться странствовать по белу свету в те смутные дни 37-го...

В Биробиджане я задержался еще на два дня для того, чтобы продать свое имущество, состоявшее из собранной мной библиотечки, постели и скрипки, доставшейся мне от моего отца. Я далеко не был уверен, что мне удастся выехать из города — на мне уже было клеймо — сын врага народа. Этого было предостаточно.

Лежа на верхней полке вагона, я еще долго не мог понять, что произошло... что будет дальше? Как помочь отцу? Он наверняка не сможет это все перенести. Если бы это все случилось не со мной, но с кем-то другим... Что будет с мамой? Застану ли я ее дома? Что будет со мной? Кто меня примет на работу с новым социальным положением? Долго ли еще будет продолжаться этот новый кошмар? Все вертелось в моем в мозгу и не давало заснуть.. Я попробовал было в вагоне-ресторане выпить водки, но от этого легче не стало.

В середине декабря я прибыл в Москву. Тут я встретился с Ароном Вергелисом, с которым познакомился еще в Биробиджане во время его пребывания на летних каникулах у своих родителей. Он учился на еврейском отделении педагогического института и с искренним сочувствием воспринял мое печальное сообщение. Ночевал я в Москве у моей знакомой Лизы Глорман, с которой

<sup>1</sup> Народный комиссариат внутренних дел СССР. — *Прим. ред.*

я вместе учился в харьковском техникуме и которая работала техническим секретарем в редакции «Дер эмэс».

В те трагические для меня дни не обошлось без комического эпизода. Лиза жила за городом в общежитии издательства. Она приняла меня по-дружески, накормила, напоила чаем и уложила спать в кровать, в которой обычно спала со своим мужем. Сама же соорудила себе импровизированную постель на табуретках у противоположной стены. Ее муж, печатник типографии, был на работе в ночной смене. Уставший от дороги и от бессонных ночей, я тотчас провалился, как в пропасть, в тяжкий сон, словно растворился в вечности.

Поздно ночью я почувствовал, что кто-то меня обнимает и прижимается ко мне. Спросонок я не понял, что происходит, и думал, что мне это снится. Но вдруг меня разбудил звонкий смех: Лиза также вскочила со своих табуреток и зажгла ночную лампадку. А случилось то, что должно было случиться: придя с работы, муж Лизы, не зная о моем присутствии, как всегда разделся и лег в постель к своей жене.

Утром я уехал в Харьков. Мать свою я застал в плачевном состоянии. Ее лицо выражало глубокую скорбь и боль; красивые, сверкавшие когда-то глаза потухли и сильно опухли, впавшие щеки были смертельно бледны. Со слезами в голосе она рассказала мне, как вывели папу из дома. Уже через два дня после ареста отца власти забрали у матери одну комнату в нашей двухкомнатной квартире. Новые не прощенные жильцы издевались над мамой, каждый раз напоминая ей, что она враг народа и что ее место в лагере рядом с ее мужем, и что она освободит для них квартиру в ближайшие дни.

Мать ждала, что ее выбросят из квартиры точно также, как других в ее положении. Возмущенный, я направился в районный отдел милиции жаловаться. Но когда начальник ознакомился с моим «волчьим билетом», он со мной даже говорить не стал, а выдал мне новый предписание, где было черным по белому

написано, что я обязан в течение 24-х часов покинуть Харьков: в противном случае я буду выслан этапом. Вот так.

Я ни на йоту здесь не преувеличиваю; будучи в доме своей матери, где прошло все мое детство, я не имел права здесь переночевать. Десять дней я прятался и ночевал у нашей знакомой Цедербойм, которая немало рисковала из-за своей гостеприимности. Эти холодные декабрьские ночи я впервые вместе с мамой провел у харьковской тюрьмы на Холодной горе, где мы прятались в воротах близ стоявших домов, чтобы охрана не прогнала нас от тюремных стен, где с утра выстраивалась огромная очередь из людей, стремившихся передать продукты и белье заключенным.

Мое нелегальное положение в Харькове не могло долго продолжаться. Но куда бежать? Куда ехать, куда деваться? И что мне делать, когда я никаким ремеслом не владею? Кто захочет меня принять на какую-либо работу? Ответов на все эти вопросы не было.

А тут еще несколько рублей, вырученные в Биробиджане за мое проданное «имущество», скоро испарились. Моя мать также осталась без денег и начала продавать вещи из квартиры. В полном отчаянье с багажом, который вместился в небольшую плетеную корзину, я отправился на вокзал. Меня провожали моя мать и друг — молодой писатель Нохем Соловей, чья участь в те дни была близка моей. Сидя в зале ожидания, мы перебирали, куда ехать? Лишь за полчаса до отхода поезда я решил ехать в еврейский район Калининдорф Николаевской области. Почему в Калининдорф? Сам не знаю, может быть потому, что мои знакомые, посетившие эти места, хорошо отзывались о людях того края. В Калининдорфе работал мой друг — молодой поэт Мотл Голбштейн. Может быть, он посоветует что-нибудь относительно работы в селе — все-таки свой человек. Хотя слишком сблизиться с ним нельзя, я же запятнан...

Мне было все равно куда отправляться, никто меня нигде не ждал и никакие иллюзии я себе не строил.

## Калининдорф

В Калининдорф поезд привез меня глубокой зимней ночью. С темного неба сыпал густой, целыми пригоршнями, снег. От станции Татарка до районного центра надо было добираться на подводе семь верст. Словно из-под земли возник передо мной ездовой в большом овечьем кожухе с кнутом в руках. Он пригласил меня к себе в сани, где уже сидели несколько пассажиров и мы отправились в путь. Густой снег замел дорогу. Вокруг — ни одного огонька. Но лошадке путь был, видимо, знаком и наши сани затерялись где-то в белой пустыне. Мои соседи говорили между собой на идиш: кто шутил, кто жаловался на свои болячки, а я спрашивал себя: «Куда ты едешь? К кому ты едешь?» С горы лошадь оживилась, сани сильно раскачались на заледеневшей колее и перевернулись вместе с пассажирами. Лошадь оторвалась вместе с упряжью и исчезла в бездне ночи. Лежа в глубоком снегу, я подумал, что начало моего путешествия далеко не удачное, и вряд ли в дальнейшем будет лучше. При этом я поймал себя на мысли, что начинаю верить в приметы. Да, с тех дней я стал суеверен. До сегодняшнего дня.

Не помню, сколько времени мы лежали в снегу — еще счастье, что мороз не был таким крепким, так как я был одет довольно легко. Но наконец-то извозчик каким-то чудом поймал лошадь, и мы продолжили наше путешествие. По лаю заспанных собак я догадался, что мы прибыли в какое-то селение. Это был Калининдорф. Пассажиры, мои соседи, покинули сани: остался лишь я один. На вопрос извозчика — к кому я еду? — я не знал, что ответить. Тогда он меня отвез в здешний заезжий двор и передал меня заспанному дежурному. Свободной койки для меня не

нашлось, и я остался сидеть со своими тяжкими мыслями до утра в холодном коридоре.

Измученный бессонной ночью я вышел из гостиницы. Морозный воздух освежил мою голову. Снег уже не шел и Калининдорф предстал передо мной вытянувшимся в длину селением у подножия холма, а не местечком: два ряда противостоящих друг другу низких домов, засыпанных до самых печных труб чистым, еще нетоптанным снегом. Солнце лишь только взошло из-за горы и зажгло красные огоньки в замерзших окнах заспанных домиков.

Редакцию я нашел быстро, но войти в нее я не решался, боясь скомпрометировать моего друга Мотла Голбштейна, работавшего там секретарем — как никак я все же сын врага народа. Я отошел в сторону, чтобы перехватить моего друга, когда тот пойдет на работу. Долго ждать не пришлось. Я увидел его еще издалека и пошел ему навстречу. От неожиданности мой друг остановился ошеломленный, с широко раскрытыми глазами и ртом. Не говоря ни слова, он заключил меня в свои объятия.

Я его отвел подальше от редакции и в нескольких словах рассказал о себе. Мотл, который часто заходил ко мне домой в Харькове, хорошо знал моего отца, был изумлен случившимся. Он пробовал меня успокоить. Что делать? — время такое. Мол, скоро все изменится и отца освободят. Я был благодарен ему за сочувствие. К чести моего друга, я должен сказать, что не заметил в его словах и поведении и признака страха или отчуждения. Наоборот, я почувствовал с его стороны истинную готовность помочь мне в моем отчаянном положении. Более того, я бы сказал, что своим участием он стремился выразить свой протест по поводу случившегося и бросить вызов принятому в то время правилу — отшатнуться от «чуждых людей», даже от близких и друзей.

Мотл настоял, чтобы я тотчас пошел к нему домой и жил там, пока не устроюсь где-нибудь. Мои возражения, что моя близость и совместное проживание могут ему навредить, он категорически отбросил и не хотел даже об этом слышать. Он отправился со

мной в гостиницу за моим багажом, и мы оба пошли на его квартиру, которую он снимал в недавно построенном доме еврейского колониста на самом возвышенном месте. Мотл жил в просторной комнате вместе с еще одним сотрудником редакции — Довидом Печерским, которого я хорошо знал по Харьковскому журналистскому техникуму. Хозяйка дома быстро соорудила постель и напоила меня свежим молоком. Мотл отправился на работу и я, как убитый, заснул на своей новой постели, душевно согретый добрыми людьми...

Как права и мудра была моя мать, не будучи в восторге от моего поступления в техникум журналистики. Она всегда говорила, что журналист это не профессия, что журналист в конце концов всегда был и остается «луфтмч'ом», то есть человеком без определенных занятий — это ненадежный кусок хлеба.

Не раз я в те дни, да и позднее, вспоминал мамины слова. Куда и кому обращаться насчет работы? Что я знаю, кроме немного идиш? Кто посмеет принять на работу человека с моей «родословной»? Сколько бы я об этом не говорил с Мотлом, и сколько последний не пытался меня убедить, что мое положение не такое печальное, как я его себе представляю, придумать что-то ответственное мы были не в состоянии. Мое положение было больше, чем отчаянное, и через пару дней после моего приезда в Калининдорф я решил идти искать работу в один из колхозов района. Я молод и здоров, почему бы мне не пойти трудиться в поле, на ферму, как миллионы других людей? По соседству с квартирой Голбштейна под одной крышей жили девушки — квартирантки. Надо же было так случиться, что с одной из них — Маней Писаренко, мы учились в одном классе в Харьковской двадцать пятой школе.

Говорят, мир велик, но в моей жизни не раз случалось, что я встречал старых друзей и знакомых после многих лет разлуки в таких местах, что не мог себе и вообразить. Маня Писаренко была одна из них. Как потом выяснилось, Маня происходила из



Калининдорфских краев, села Бобровый Кут — еврейской колонии, верст пять от Калининдорфа, откуда, кстати, вышел и известный поэт Довид Айнгорн.

Несколько лет Маня жила у своих родственников в Харькове и после окончания семилетней школы возвратилась в село к своим родителям-колхозникам; позже она переехала в райцентр, где работала лаборантом в семенной лаборатории. И вот мы встретились под одной крышей. Маня — симпатичная брюнетка моих лет с румянцем на щеках, проступающим через загар, присущий евреям-колонистам. Меня встретило здесь полное участие, и она предложила подъехать к ее родителям в Бобровый Кут: может быть, они смогут в чем-то помочь. Я согласился и на завтра рано утром пустился в дорогу. Бобровый Кут вклинился в реку Ингулец, как полуостров. Никакой транспорт туда зимой не ходил, и добираться туда пришлось пешком, набирая полные ботинки снега. Родители Мани, очень славные симпатичные люди, приняли меня гостеприимно, и отец ее отвел меня в контору местного колхоза.

Председатель меня внимательно выслушал, скептически с ног до головы оглядел мою городскую одежду и после долгого молчания, во время которого он, сообразно своему медленному соображению, переварил все, что я ему сказал, произнес, что, к сожаленью, зимой в колхозе работы нет. Летом, с большим удовольствием... Я его отлично понял. Разочарованный и огорченный, я отправился обратно в Калининдорф кратчайшим путем — через реку, хотя родители Мани меня предупреждали, что лед на реке еще слаб.

Но мной овладело странное чувство безразличия, и я пошел. Река была ровно покрыта снегом. Ни следа человеческой ноги. Надо мной свинцово-серое, тяжелое небо... Нередко мне является во сне картина, как я иду через реку по тонкому слабому льду, стонущему под моими шагами. Шел я с закрытыми глазами, с овладевшей мной лишь одной фаталистической думой. Перейду

я благополучно через реку, значит, суждено мне жить дальше, если нет...

Я перебрался на другой берег, открыл глаза, и у меня вырвался дикий вопль, который поглотил безмолвный белый снег вокруг, свинцово-серое, тяжелое небо: «Буду жить!..» С того момента во мне поднялась волна огромной воли к жизни: только жить! Пережить кошмар, не поддаваться, как бы мне не было плохо, чтобы не случилось, судьбе вопреки!..

Прошла неделя, как я прибыл в Калининдорф. Мои ничтожные денежные средства исчерпались, и работа для меня не предвиделась. Куда бы я не обратился, мне под различными предложениями отказывали. Мой внешний вид горожанина каждого настораживал, и стоило мне только сказать, кто я такой — умолчать в те времена о своем происхождении и социальном положении было невозможно — старались от меня поскорей избавиться, как от зачумленного. К тому же еще в Калининдорфе, как и во всех провинциальных поселениях, каждое новое лицо было на виду. Из одного дома в другой, из уст в уста передавали, кто я, что я и откуда я. Люди с любопытством мне смотрели вслед и шушукались между собой за моей спиной. Слоняясь однажды так по поселку, я на телеграфном столбе прочел объявление, что в МТС требуется кочегар.

Ни на минуту не откладывая, я быстро туда отправился. Директор — еще молодой человек долго вертел в руках мои документы и, наконец, мне заявил, что работа не для меня: нужно приходиться в 5 часов утра и топить 8 печей; рубить дрова, носить воду. Я ответил, что это меня не страшит и что я согласен. Тогда он поднялся со своего стула, приблизился ко мне и, заглянув мне в глаза, сказал: «Хорошо. Приходите сюда завтра в двенадцать часов дня». С искрой надежды я оставил кабинет директора.

Дома, дело уже было к вечеру, я застал Мотла. Мне показалось, что настроение у него подавленное. «Э, глупости...», — попробовал он с деланным равнодушием отделаться от моих расспросов,

но, в конце концов, признался, что сегодня его вызвали в райком партии, где интересовались моей особой.

Кровь бросилась мне в голову. Нет. Я не за себя испугался. Со мной уже все было ясно, и я приготовился к самому худшему. Но чтобы Мотл пострадал из-за меня?! Это окончательно меня добило, и я не мог себе простить, что дал себя уговорить и пришел к нему жить. Я уже приготовился оставить его дом и уехать из Калининдорфа. Куда? В белый свет...

Мотл пробовал меня успокоить, что это, мол, не так серьезно, как я думаю, что он там, в райкоме, сказал, что я его друг, что он меня знает хорошо и что он ручается за меня; что, в конце концов, сын за отца не отвечает... Я целую ночь не сомкнул глаз и твердо решил поскорее съехать.

Назавтра в условленное время я пришел в МТС. Директор меня встретил подчеркнуто холодно. Подчеркнуто холодно он сообщил, что его заместитель днем раньше уже нанял на работу кочевара... Когда я выходил из кабинета, директор меня остановил:

— Да, чуть не забыл. Вас приглашает к себе начальник райЭнКаВэДэ.

При этих словах у меня как бы сердце оборвалось от страха... Но когда я вышел на улицу, я взял себя в руки и подавил страх: чего я должен бояться? Так может быть и лучше: сколько можно крутиться без надежды найти работу, сколько можно так жить — не нужным никому и самому себе. Пусть уже все это кончится! Жаль только маму...

Меня принял помощник начальника НКВД, маленький человечек с красным лицом и бесцветными глазами. Он был одет в гражданское и был настолько неприметен, что если бы я его встретил на улице, то не обратил бы на него никакого внимания. Он сидел в высоком кресле, поставленном, наверное, специально для него, чтобы он выглядел значительнее... На столе лежала его светлая плоская фуражка. Я не знаю почему, но фуражка его мне хорошо запомнилась. В своих маленьких,

почти детских руках он вертел связку ключей. Из рта торчала длинная папироса.

Целый час он меня допрашивал, и я ему еще раз, и еще раз был вынужден о себе рассказывать. Но больше всего его интересовало, почему я приехал сюда, именно в Калининдорф. Мой ответ, что мне много хвалили этот еврейский район и что давно, еще после окончания техникума, я даже имел намерение приехать сюда на работу, его мало удовлетворил. После того, как он меня расспросил о Мотле, — откуда я его знаю, и не приехал ли я сюда из-за него, — он дал мне несколько листов бумаги, чтобы я все рассказанное написал. Так я и сделал. После этого следователь отпустил меня домой. Перед уходом я его спросил:

— Имею ли я право устроиться на работу?

— У нас каждый имеет право на труд! — был его ответ.

Выйдя из этого учреждения, я, как ни парадоксально это звучит, почувствовал себя намного лучше: я был уже в аду, очистился и всё... Правда, ночью, при каждом шорохе мне казалось, что это пришли за мной...

О моем переезде на другую квартиру Мотл и слушать не хотел. Он доказывал, что мне ничего не грозит и что если мы вместе жили до сих пор, мы можем и дальше жить совместно, уже все равно, нечего бояться. Я сдался.

В ближайшее воскресенье, когда я сидел в доме моих соседей, девчат, Маня мне сообщила, что в лаборатории, в которой она работает, освободилось место регистратора. Может, мне попытать свое счастье? Она, Маня, в дружеских отношениях с заведующей лабораторией. Так она замолвит за меня словечко? Я ухватился за этот план и на завтра уже был в лаборатории.

Маня свое обещание выполнила, и заведующая, ее звали Фаней, молодая, незамужняя женщина, без лишних вопросов касательно моей персоны, посадила меня за отдельный столик, положила передо мной большой журнал и объяснила, в чем будет состоять моя работа. От радости сердце мое начало быстрее биться. Я даже

не обратил внимание, когда заведующая меня предупредила, что дает две недели испытательного срока. Также маленькая зарплата — сто рублей лишь! — меня не шокировала: как-нибудь проживу — лишь бы я имел работу...

Моя работа состояла в регистрации всех анализов различных семян, которые лаборатория выдавала колхозам всего района. Работа совсем элементарная, и я даже не сомневался, что я легко с ней справлюсь. Но... я ошибся. Заведующая была весьма педантична и мои журналистские каракули ей не понравились. Об этом она мне ясно дала понять уже на второй день, что повергло меня в унынье. Мое положение снова стало отчаянным. Я ждал, что меня отправят из лаборатории, которая пришлась мне по душе с первого же дня. Наконец заведующая пригласила меня к себе и в присутствии трех лаборанток заявила, что решила регистрировать анализы сама, но, если я настаиваю, то она может с зарплатой регистратора перевести меня на работу лаборанта. Смогу ли я? Но тут меня окружили девушки и сказали, что помогут и поучат. Я был тронут их сочувствием и дал согласие, не будучи уверен, что из меня что-то получится. Другого выхода у меня все равно не было.

В открытые двери соседской комнаты, я видел, как Фаня советовалась с девчатами-лаборантками и Маня упрямо ее уговаривала... Я понял, что говорят обо мне.

И вот я, журналист с такими светлыми мечтами и запросами, стал учеником в сельской лаборатории семян.

В тесной лаборатории, кроме заведующей Фани, работали еще три девушки: Маня, Нара и совсем молодая шестнадцатилетняя красивая украинская девушка Тоня. Они все взялись меня обучать новому для меня лабораторному делу. Сначала я у них выполнял различные вспомогательные работы: высыпал мешочки с зернами в сортировочную установку, подготавливал землю в ящиках для посева семян, подносил к рабочим столам материал и тому подобное. Понемногу я овладевал новыми навыками

и, не прошло и двух недель, как я стал, можно сказать, лаборантом, выполняющим уже самостоятельно сложные анализы различных зерновых культур с начала и до конца. Девушки, мои наставницы, во главе с заведующей не могли нахвалиться моими успехами, и я себя почувствовал в этом маленьком коллективе своим человеком, окруженном доброжелательностью и симпатией молодых женщин. С утра и допоздна я наряду со всеми трудился у рабочего стола и напрягал зрение у микроскопа. При этом мы тихонько напевали еврейские, русские и украинские песни. Маня и Тоня обладали на редкость красивыми голосами, и наш хор звучал весьма ладно. Двое украинских девчат — Тоня и Надя, выросшие в еврейской колонии Штерндорф, недалеко от Калининдорфа, выразительно и с чувством пели еврейские песни.

В условиях, в которых я находился, работа в лаборатории была для меня спасением, утешением. Моя скудная зарплата в 100 рублей после неплохих заработков в Биробиджане меня особо не угнетала: жизнь в селе была дешевле, чем в городе, мои потребности были донельзя скромными.

Меня очень беспокоило положение моей матери в Харькове, которая осталась одна-одинешенька, беспомощная в окружении «убийц». Ее письма были беспокойными и печальными, каждый день ее выживали из квартиры, известий от отца не было, средства на жизнь таяли. Меня до боли волновало, что я не мог ей помочь. В таком же положении был и мой брат, работавший в Донбассе.

В начале марта мама неожиданно приехала ко мне. Она больше была не в силах выдержать квартирных «убийц», как она их называла, и в отчаянии сбежала из города. Мы вместе пробыли около двух недель и за это время излили друг другу свои души. Разлука была горькой.

В нашей лаборатории начался «сезон». Работы прибавилось, и мы нередко задерживались там до поздней ночи. Весенний сев был на носу. Мои акции росли как на дрожжах.

Я не только не отставал в работе от девчат, но во многих отношениях их перегнал. В основном я отличился тогда, когда из Николаева нам в лабораторию привезли совсем новый электрический прибор для измерения влажности семян — влагомер. Никто в лаборатории даже не представлял, как к нему подойти. Будучи со школьных лет немного сведущ в технике, я смело начал устанавливать новый прибор и первый начал с ним работать. У моих коллег это вызвало восхищение: моя заведующая назначила мне новый оклад — даже не ученика, а настоящего лаборанта. Более того, «слава» обо мне дошла до районного пункта заготовок зерна «Заготзерно». Оттуда ко мне приехал заместитель директора перемакивать к себе на работу, соблазняя приличным окладом...

Своим успехом я был обязан тому, что месяц март 1938 года принес определенное послабление по отношению к таким, как я. Это случилось после того, как гений всего человечества высказался, что сын за отца не отвечает.

Мой друг, Мотл Голбштейн, был на седьмом небе. Он меня уверял, что черные дни миновали и что вскоре освободят моего отца.

Мне так хотелось в это верить. Я уже чувствовал себя не таким грешником. Мотл безбоязненно познакомил меня с его друзьями — педагогами местной еврейской школы и еврейского педагогического техникума, принявшими меня с особой теплотой.

В Калининдорф наезжали нередко писатели, артисты, корреспонденты центральной еврейской прессы. Со многими я встречался как со старыми добрыми знакомыми моего недалекого литературного периода, и они все с теплой непосредственностью сочувствовали моему положению.

«Сезон» в нашей лаборатории закончился, работы существенно убавилось, и я решил перейти на работу в лабораторию «Заготзерно», куда меня уже несколько раз приглашали. Наша заведующая и девчата провожали меня с сожалением и самая младшая, Тоня, горько расплакалась. Как мне потом по секрету

рассказала Маня, Тоня была в меня влюблена; она надеялась на взаимность, и мой уход был для нее ударом.

Лето в Калининдорфе было жаркое. Урожай зерновых высокий, так что трудиться на моем новом месте пришлось днем и ночью. Нагруженные доверху машины беспрерывно прибывали, выстраивались перед воротами «Заготзерно» в длинный ряд, и я обязан был взобраться на каждую из них с моим зондом, набрать пробу зерна, быстро вбежать в лабораторию и сделать экспресс-анализ: лишь после этого машине разрешали въехать во двор к амбару и высыпать зерно. Кроме того, я был обязан залезать в трюмы огромных барж, груженных зерном, стоявших в гавани нашего элеватора на реке, и забирать пробы для анализов, прежде чем груз отправляли в другие порты. Так целый долгий день и нередко сутками. После работы я падал смертельно уставший на свою койку и долго не мог уснуть, так ныли поясница и спина.

В конце лета Мотла призвали в армию, и я остался, как осиротевший. Еще хорошо, что я успел за это время подружиться с учителями школы. Это были редкие люди — образованные, интеллигентные, с разнообразными интересами. К их чести, они меня не сторонились. Наоборот, они окружали меня вниманием и приглашали к себе домой, устроили меня к хозяйке, готовившей специально для них домашние обеды, а когда горячий сезон закончился, перетянули к себе в коллектив преподавателем физкультуры вместо уехавшего педагога. К другой работе в школе меня никто бы не допустил... Как я уже говорил, я с детства был физически неплохо развит, спортивен, и теперь это все мне пригодилось. Педагогический техникум также остался без преподавателя физкультуры, и я занял и эту вакансию. Меня пока это очень устраивало. Во-первых, я целый день находился в педагогическом коллективе и, во-вторых, я работал в двух местах, у меня выросла зарплата, и это играло теперь не последнюю роль в моей жизни. А моей новой работой я скоро овладел. Я вспомнил, как проводились уроки физкультуры во время моей учебы



в школе. Кроме учебного процесса, я организовал два спортивных кружка — один в школе, другой в техникуме, которые не без успеха выступали под музыку на сцене дома культуры во время Октябрьских торжеств: моя работа понравилась.

После отъезда Мотла из Калининдорфа я съехал из нашей общей комнаты и снял отдельную маленькую комнату возле школы. Моя хозяйка — Задова — простая деревенская женщина с золотым сердцем была также из пострадавших: в 1937 году забрали ее мужа, и она осталась с 4-мя дочерьми, Ривой, Розой, Шурой и Бусей. Старшая, Рива, уже работала, средние учились, а сама маленькая Буся еще не совсем отвыкла от маминых рук. Излишне рассказывать, как эти пострадавшие относились ко мне...

В это самое время моя мать из Харькова сообщила мне, что ее переселили в крошечную комнату в большой «коммуне» без всяких удобств. Ее слабое здоровье сильно ухудшилось, и она нуждалась в помощи. От отца по-прежнему ничего не было слышно.

Я начал думать, как переехать к маме. О прописке в Харькове «просто так» нечего было и думать. Но вот мне пришла в голову мысль: попробовать приехать на учебу в какое-либо учебное заведение; в таком случае меня обязаны были прописать. Не думая долго, я написал об этом моему другу Леве. О нём я должен рассказать подробнее, так как он сыграл немалую роль в моей дальнейшей жизни.

Слевой Мельцером я был знаком еще со школы. Он учился на два класса старше меня, выделялся красивой декламацией и... как бы это выразиться? не хулиганством, нет, я бы сказал недостатком семейного воспитания. Почти все мы были далеко не «пай-мальчики», но Лева нас всех перещеголял... Выросший в условиях тяжелейшей бедности у больных родителей в сыром подвале, Лева с детства воспитывался улицей, продавал газеты, папиросы и подвизался не в лучшем обществе. Низкорослый, с пронзительными блестящими глазами под черными густыми бровями, Лева был жестоким, отличался

неприличными уличными повадками, и все ученики относились к нему с почтением...

В то же время Лева много читал, захватываяще рассказывал содержание книг и блестяще декламировал во время октябрьских праздников в школе.

После окончания школы Лева исчез из моего поля зрения, и я его не видел несколько лет. Однажды, это случилось в 1935-м, войдя в большой магазин «Интернациональная книга» в центре города, для того, чтобы закупить несколько экземпляров моей только что опубликованной книжки, я неожиданно увидел за стойкой Леву, работавшего здесь продавцом. Мы с ним разговоривались, и я узнал много интересного. За то время, что мы не виделись, Лева изучал в Ленинграде восточные языки. Потом с ним произошла какая-то неприятная история, после которой он вынужден был прервать свою учебу и возвратиться в Харьков.

Его умение держать себя, его язык, его эрудиция в вопросах литературы, истории и искусства ошеломили меня, и я понял, что человек этот изменился до неузнаваемости. Я почувствовал в нем такое, чего не видел в других. С того дня мы близко с ним сошлись, и каждый раз я открывал в нем новые стороны.

Жил Лева в глубоком и темном подвале, где со стен буквально стекала вода, и свет даже днем давала лишь маленькая электрическая лампочка. Вот в этой яме Лева себе оборудовал кабинет, который напоминал обиталище мыслителей-философов средневековья: большой, мощный стол, от которого просто таки разило стариной — один бог знает откуда Лева его выкопал. На нем лежали толстые пачки томов, стояли различные бутылочки, трубочки, пробирки, старые канцелярские принадлежности, чернильницы, стеклянные колбы и медный микроскоп, наверное, еще времен Левенгука...

На полке в строгом порядке были расставлены большие фолианты классиков, философов, Библия и многочисленные тома Талмуда. Нередко я заставал моего друга углубленным в чтение

какого-нибудь тома или в создание собственного сочинения, и перед мысленным взором возникал образ Спинозы, которого он цитировал наизусть. Начитавшись творений великих философов и произведений об их жизни, Лева стремился быть похожим на них пунктуальностью, железным режимом, привычками и даже внешним видом.

На фоне нового времени это выглядело странным, если не сказать больше... Я это все замечал и довольно трезво оценивал, но, должен признаться — в определенном смысле мне это нравилось. Я привязался к моему новому другу; я пользовался его необычной библиотекой, черпал из его богатых познаний и был сильно под его влиянием. О дальнейшем жизненном пути Левы мне придется еще рассказать, но здесь я хотел бы добавить, что наша дружба была испытана многими годами и сохранилась до сегодняшнего дня.

Так вот, долго ждать ответа на мое письмо от Левы не пришлось. Мой друг меня извещал, что в Харькове открываются с начала года подготовительные курсы в различные институты для будущих абитуриентов, он уже где-то справлялся, и чтобы я ему поскорее выслал документы. Я так и сделал. Не прошло и двух недель, как я получил от Левы справку, что с 1 января 1939 года я зачислен слушателем подготовительных курсов во 2-й Харьковский медицинский институт.

Расстаться с Калининдорфом, где я прожил целый год, где в тяжелейшие дни своей молодости я нашел пристанище, где я встретил исключительно добрых людей, благодаря которым не был окончательно сломлен, мне было нелегко. Лишь перспектива быть вместе с матерью, нуждающейся во мне, утешала меня.

После нашей квартиры на улице Дегтярной, откуда выселили мою маму, наша новая квартира на Пушкинской улице произвела на меня тяжелое впечатление. Это была узкая комнатка, около 10 квадратных метров, где негде было повернуться, без всяких удобств, со множеством соседей всякого рода... Единственное

окно выходило на улицу, где и днем и ночью страшно гудели машины и звенели трамваи, от которых нашу комнатку буквально сотрясало... От отца стали приходиться известия. Он был приговорен «тройкой ОСО» к 10 годам и находился в лагере в северных лесах Архангельской области. Его письма были проникнуты страшной болью невинного человека. Эти пожелтевшие от времени письма — единственное, что осталось от моего отца, — уже почти столетия лежат у меня, сбереженные до сегодняшнего дня. Я к ним обращаюсь каждый год в день его гибели...

Теперь у нас с мамой встал вопрос: откуда черпать средства для существования и средства для помощи отцу? Мать уже продала из дома все, что можно только было продать, никаких сбережений у нас не было. Мне удалось через знакомых устроиться в текстильную артель, откуда я брал работу на дом: изготавливать платки, косынки. Вместе с матерью мы почти целыми днями гнули спину над работой. Зарботки были ничтожными, но у нас не было другого выхода. Целую гору изготовленных платков я нагружал на деревянную повозку на железных колесиках, сделанную мной самим, и через многолюдный город отвозил мой товар в артель. При этом моя мать шутила: история повторяется. Мой отец в молодости также возил повозку.

По правде говоря, у меня первое время даже в мыслях не было серьезно относиться к учебе. Свою цель — прописаться в Харькове, пусть временно, я достиг. Но постепенно, возможно, не без Левиного влияния, я заинтересовался лекциями. И не успел оглянуться, как стал усердным учеником. Как я уже писал, и в школе, и в техникуме я никогда не относился к занятиям серьезно.

И мое среднее образование в особенности после трёхлетнего перерыва сильно хромало... Уверенности в том, что я восполню упущенное, у меня не было. Хуже всего дело обстояло с русским языком. До десяти лет в Польше я вообще не слышал русского слова, потом учился в еврейской школе и еврейском техникуме, где русский изучали как иностранный язык. Дома и с моими

друзьями мы разговаривали по-еврейски. Работал я в еврейской газете, жил в еврейском районе, где мы общались только на идиш. Лишь мальчиком во дворе и на улице я разговаривал по-русски. Трудно поверить, но первый диктант на курсах, что нам дал педагог, чтобы иметь представление об уровне слушателей, я написал хуже всех. На сто слов я сделал 53 ошибки. Я готов был провалиться сквозь землю от стыда. Мне казалось, что все курсанты за моей спиной смеются надо мной...

Не лучше обстояло дело с другими предметами, и я лишь тогда понял, к чему ведет замыкание в узких рамках идиша. Я встал перед непреодолимой стеной.

Мой друг Лева с суггестией опытного гипнотизера отвлек меня от тяжелых раздумий и вселил в меня уверенность, что я смогу преодолеть эту стену. И я закатал рукава. После целого напряженного рабочего дня, а затем и уроков на вечерних курсах, я допоздна просиживал за учебниками и «глотал» науку. Много времени я отдавал русскому языку. Кроме грамматики по учебной программе, я каждый свободный вечер самостоятельно писал по-русски сочинение на свободную тему. Эти «произведения» в моем присутствии читал мой друг Лева — большой знаток языка, который с пером в руке исправлял мою работу. Кроме того, я начал много читать, используя каждую свободную минуту: в транспорте, в очереди за продуктами, даже идя по улице, и не просто читал — читал активно, занося в записную книжку слова, отдельные выражения и тому подобное. Это звучит смешно, но я начал говорить по-русски даже с моей мамой... Она со мной на идиш, я с ней — по-русски... Легче мне было с математикой: что-то осталось в памяти. Кроме того, бывшая заведующая моей школы Дора Марковна пристроила меня к своему большому мужу — бывшему журналисту, прикованному к постели, который с удовольствием готовил меня по математике, которую он удивительно хорошо знал.

Моя мать смотрела на меня с удивлением: что это я так взялся за учебу? Но с каждым днем во мне росло желание учиться

и, самое главное, во мне проснулась вера в собственные силы. Я не раз замечал, читая мемуары, что их авторы в большинстве случаев выставляют свои положительные стороны и поступки. Возможно, и я не избежал того же. Так уж устроены люди. Они любят хорошие поступки, как чужие, так и свои, и в воспоминаниях добрые дела выплывают более явственно, оставляя в тени многочисленные грехи наши.

Не хочу преувеличивать, но за шесть месяцев подготовительных курсов я больше успел в области образования, чем за многие годы в школе и техникуме, и вышел в число самых преуспевающих курсантов.

Мне потом признавались некоторые из моих однокашников, что они придерживались мнения, что я сначала специально притворялся «ягненком», чтобы потом хвалиться своими успехами...

Одновременно с моим «триумфом» меня все больше и больше давил груз раздумий: что будет дальше? Срок моей прописки заканчивался, и мне снова предстояло оставить Харьков. Перспектива вовсе не веселая. Единственное, что могло меня спасти — поступление в институт.

Но легко сказать — поступить! Да еще в медицинский, при его большом конкурсе. Мой друг Лева меня воодушевлял и добился, чтобы я отдал документы на единственный в стране психоневрологический факультет. Я его послушал.

Лето в городе стояло жаркое. В нашей комнате дышать было тяжело. В такой духоте и при таком непрерывном шуме трамваев и машин под окном готовиться к экзаменам было невозможно, и я принял решение: прервать на месяц работу дома, поехать в Калининдорф и там, вдали от городского шума, подготовиться в институт. Денег на расходы у меня не было, из дому нечего было продать. Ни одной новой вещи у меня не было, и ходил я в латанной одежде. Нам с мамой едва хватало средств для того, чтобы собрать посылку отцу в лагерь. Единственное оставшееся у нас имущество были облигации государственных займов за

несколько лет. Я их продал в сберкассе за 30% и таким образом собрал немного денег.

В Калининдорфе бывшая моя хозяйка встретила меня как родного, выделила мне мою «комнату» и создала все условия, чтобы я мог спокойно отдаться своим занятиям. При этом мне повезло: одна из ее дочерей, Роза, после окончания десятилетней школы также готовилась поступать в институт, и немало часов мы вместе решали задачи по математике, физике и химии.

Мой режим в селе был железным: вставал я вместе с солнцем, бежал к речке купаться. Тотчас после этого на свежую голову садился за свои учебники. В двенадцать часов я снова бежал к реке, обедал и ложился на один час поспать. Вставал и снова к книгам до самого захода солнца. После получасовой прогулки на свежем воздухе — спать. И так изо дня в день три недели подряд. До экзаменов осталась одна неделя, и тут ниспослал мне Всевышний черта в образе чудесной девушки, перевернувшей весь мой железный режим с ног на голову... Должно быть, Всевышний решил меня испытать, и я, признаюсь, экзамен не выдержал.

Я провожал моего «чёрта» до поздней ночи в соседнее село и, естественно, спал потом до середины дня. Слава богу, что все это случилось к концу моего Калининдорфского месяца, иначе я бы увидел институт как собственные уши. Конкурс в харьковский мединститут был огромным — шесть человек на одно место, и, правду говоря, больших надежд я не питал, надеялся больше на чудо. И все же — первые четыре экзамена — письменный по русскому языку, устный по русской литературе, историю и физику я сдал на «отлично». 20 баллов — это уже была серьезная заявка, придавшая мне духу. Остальные экзамены прошли не так уж гладко, и я имел основания сомневаться в успехе при таком большом конкурсе. С дрожью я искал свою фамилию в списках принятых в институт, и мое сердце чуть не выскочило из груди, когда я там себя нашел. Вот так я стал студентом-медиком, вот так я остался жить в Харькове.

С воодушевлением воспринял известие о моем поступлении в институт мой отец. Его радость в условиях тяжелейшего лагерного режима была огромна. Он только очень переживал, что не в состоянии пока мне помочь, чтобы я мог полностью отдаться своей учебе, и он начал надеяться, что мой успех является хорошим предзнаменованием и в его судьбе...

Мы с мамой писали письма во многие государственные и партийные инстанции с просьбой пересмотреть дело отца, но время еще не пришло, и ответы не обнадеживали.

Учебный год, как обычно, начался 1-го сентября. Это был на редкость солнечный день, и это было такое приятное чувство — идти впервые в институт в бурлящей массе студентов, спешащих в свои учебные заведения. Но что это? Вокруг репродуктора стоит большая толпа. Передают что-то очень важное. Я прислушиваюсь: «Немцы ворвались в Польшу, на Варшаву падают бомбы...»

«Это начало Второй мировой войны», — комментировал эти события во время перерыва наш педагог латинского языка. Мое поколение тогда еще не знало о войне, хотя об этом говорили и кричали на трибунах очень много. Но я помню, что слова нашего педагога и тон, которым они были произнесены, на нас всех произвели большое впечатление, и праздничное настроение первого учебного дня было омрачено. Но пока пушки стреляли где-то далеко. Наша страна была довольно сильна и на каждом шагу нас уверяли, что врага мы будем бить на его территории. И вообще, сомнительно, что Гитлер отважится напасть на нас... Так что пока жизнь шла своим обычным ходом.

С первых же дней в институте учеба у меня пошла усердно и интересно. Лекции меня увлекали, и я почувствовал себя в аудитории после Калининдорфской «ссылки» равным среди равных.

Более того, как студенты, так и педагоги относились ко мне, я бы сказал, с особым вниманием, возможно потому, что я был старше моих товарищей и отдавался учебе больше, чем они.



Кроме того, я был единственный в моей группе, который учился и одновременно работал, отказавшись от многих радостей и удовольствий молодости. При этом вскоре я выдвинулся в число хорошо успевающих студентов, что меня самого немало удивляло.

17-го сентября наша армия пересекла границу Западной Украины. 19-го сентября меня, как и многих других студентов, вызвали в военкомат на призывную комиссию. Медкомиссию я прошел блестяще, и мне написали: годен. Но когда военком и вместе с ним представители соответствующих органов заглянули в мои документы (личное дело), они изменились в лице. Меня засыпали вопросами, и я снова почувствовал себя «трефным». Но это уже было не страхом, а оскорблением. На вопрос председателя, чем я занимался до 1928 года, то есть до переезда из Польши в Советский Союз, я на полном серьезе спокойно ответил, что играл в... цурки<sup>1</sup>. Председатель покраснел от гнева и накричал на меня, что здесь не место для шуток! Через неделю мне выписали военный билет, где черным по белому было написано, что я годен к военной службе только в запасе 3-й категории. Не менее интересная разыгралась сцена, когда офицер должен был записать в военный билет мое место рождения. По метрике и по паспорту я родился в Польше.

— Но ведь Польши больше не существует! — объяснил мне в повышенном тоне офицер. — Где находится Плоцк? В немецкой или советской зоне Польши?

— В немецкой, — ответил я. И офицер записал мне в военный билет место моего рождения: город Плоцк, Германия...

Это не анекдот. Это примечательная военная книжечка пролежала у меня в кармане целых 10 лет до 1949 года, когда я был зачислен в кадры Советской Армии... Большую часть студентов нашего курса взяли на службу, мне же не доверяли.

---

<sup>1</sup> Цурки — детская игра, в которой битой или палкой выбивают кусочек дерева «цурку» из кона — круга или квадрата на земле.

Моя студенческая жизнь давалась мне нелегко: анатомия, гистология, латынь, физика, химия и другие предметы требовали много времени и умственного напряжения, чтобы заработать повышенную стипендию. Кроме того, мы с мамой делали на дому платки. Мы должны были поддерживать отца в лагере. Во время каникул летом и зимой я неплохо заработал, репетируя с отстающими школьниками, которых мне «сосватала» моя бывшая завуч Дора Марковна.

В конце 1939 года в Харьков из Донбасса переехал мой старший брат, которого я устроил на подготовительные курсы в машиностроительный институт. Одновременно один наш знакомый устроил его на должность конструктора на харьковский велосипедный завод, где он отработал 40 лет — до конца своей жизни.

В маленькой комнатке на улице Пушкинской мы жили теперь втроем. Теснота страшная, негде было повернуться, едва удавалось на ночь у самых дверей поставить раскладушку. Зима 1940 года была холодная, но наша печурка вроде бы грела. К этому времени начались трудности с продуктами и хлебом (шла Финская кампания). И тут мы с мамой нашли, как себе помочь: мы нанялись разносить по квартирам хлеб жителям двух больших домов на нашей улице в их мешочках (так велели тогда, такой порядок ввели городские власти вместо хлебных карточек). За каждую квартиру нам платили три рубля в месяц. Кроме того, у нас всегда был кусок хлеба в доме. Но для этого мы с мамой вставали в самые лютые морозы в четыре часа ночи, с саночками отправлялись в хлебный магазин, по списку получали паек, раскладывали хлеб по мешочкам, нагружали санки и потом в темноте, бегая по ступенькам домов, распределяли мешочки.

Едва закончив нашу ночную работу и едва успев что-то перекусить, я отправлялся в институт. После лекции скоро возвращался домой, пару часов просиживал над учебниками, затем вместе с мамой изготавлял платки. Спал всего пять часов в сутки.

Вспоминая все это, я сам удивляюсь, как это было возможно? Как я это все успевал? Но, должно быть, этим отличается молодость от более поздних лет, что в молодости мы успеваем все.

А время шло своим чередом. Я окончил первый курс.

## Вечера с Бергельсоном

*Катятся годы, как мяч: вот держишь ты его в руке, вот он исчез. Вместе с ними стираются из памяти события, переживания. Многие из них затягиваются густым туманом. Но есть между ними такие, которые врезаются в память, словно выбитая в камне надпись, такие не забываются...*

*Стоял сердитый мороз, от которого захватывало дух. Голубизна вечера как бы примерзла к высокому снегу на биробиджанских крышах, где дымы из труб уносились вверх, как ровные телеграфные столбы.*

*В двух тесных смежных комнатах «Биробиджанер итерн» царило приподнятое настроение. Рабочие, служащие, учителя, студенты пришли на литературную встречу с местными писателями. По сравнению с крепким морозом на дворе здесь было уютно. Вокруг круглой печки, в которой по-праздничному трещал огонь, распространяя запах смолы и хвойных деревьев, знакомые обменивались приветствиями и репликами. Компания писателей шутила по своему обычаю, добродушно посмеиваясь один над другим. Особенно выделялся в этом отношении вечно веселый Эма Казакевич, чей звонкий задорный смех перекрывал общий шум и заполнял собой все помещение. Не отставали от него и Нотка Вайнгойз, Йосиф Рабин, и хриплый Гириш Добин. Более солидно беседовали между собой Гершил Рабинков, Бузи Миллер, Нохэм Фридман.*

*Мы, самые юные, почти еще мальчишки Генех Койфман, Арн Гофштейн и я скромно сидели у редакционного стола с тетрадами*

*стихов и молча, с почтением слушали этот фейерверк шуток биробиджанских литераторов. Главный редактор «Биробиджанер штерн» Бузи Гольденберг только что закончил читать листы корректуры завтрашней газеты и давал указания выпускающей очередного номера Соне Розенфельд. Потом он поднялся со своего места, выпрямился, высокий и стройный, закинул назад рукой свои черные кудрявые волосы и быстро оглядел своими умными улыбчивыми глазами собравшихся. Это было знаком, что довольно уже шуметь. Вечер начинается.*

*Последним замолчал Эма Казакевич. Едва главный редактор успел открыть вечер, как входная дверь отворилась, и на пороге появился среднего роста мужчина в меховой шапке-ушанке и в пальто с высоко поднятым коричневым шалевым воротником, из которого выглядывал красный от мороза нос. Это был Довид Бергельсон.*

*Все произошло так неожиданно, что все были изумлены, и установилась какая-то странная тишина. Бергельсон это сразу почувствовал и, чтобы рассеять почтительное молчание, прямо с порога поздоровался и басом пошутил: «Добрый вечер вам, господа! Что вы на меня так уставились, словно я восстал из мертвых? Может, старый Бергельсон тоже хочет услышать пару свежих песен? Не нашли даже нужным меня пригласить. Смотрите мне, братва, вот я вам как всыплю всем». И, пока Бузи Гольденберг, также шутя, оправдывался перед писателем, Довид Бергельсон снял свое добротное пальто на меховой подкладке и сел на место, которое кто-то освободил для него возле самой печки.*

*Приложив замерзшие руки к стенке печки, Бергельсон не мог насладиться теплом: «Ой, детки, тут у вас рай, честное слово». Тотчас же отступило всеобщее напряжение, и все присутствующие почувствовали себя по-домашнему хорошо. «Так как Бергельсон опоздал, — сказал между тем Бузи Гольденберг, — с него следует штраф: пусть он ведет это собрание». Бергельсон не заставил себя долго упрашивать: «Так и быть! — сказал он. — Разве*

я от этого что-то теряю? Но я хочу предупредить, что я председатель строгий, чтобы вы потом не пожалели. Итак, кого мы слушаем?»

— Койфмана, — подсказал кто-то.

— Койфмана? Генеха? — переспросил Бергельсон. — Где же он, этот жених, а ну, встань-ка вот здесь, вот так...

Генех Койфман в его двадцать лет был далеко не застенчивым, но читать стихи в присутствии знаменитого писателя Бергельсона? Такое он себе не представлял. Бергельсон пришел ему на помощь: «Не стесняйся, Генех, смелее, я читал пару твоих песен в газете... звучит довольно хорошо». Эти слова, наверно, придали отвагу молодому поэту. Он раскрыл свою тетрадь и очень выразительно начал декламировать. При этом на его лбу показались капли пота, и большой его поэтический чуб лез ему в глаза...

Генех Койфман был моим близким другом, с которым мы вместе закончили Харьковский техникум журналистики, вместе поехали в Биробиджан, вместе начали работать в «Биробиджанер итерн», вместе жили в одной комнате и я, по всей видимости, был первым, кому он читал каждое новое написанное им стихотворение. Почти все его песни я знал наизусть и каждый его успех или поражение я воспринимал как собственные. Но, каюсь, что в этот вечер я ни одного слова из его стихов не слышал. Все мое внимание было приковано к великому писателю, чье имя у меня продолжало ассоциироваться еще со школьной скамьи с выдающимися классиками Менделе Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхемом, Ицхок Лейбуш Перецом, Шоломом Ашем и т.д. А тут сидел напротив меня за столом так близко сам Довид Бергельсон, великолепный автор «Глухого», «После всего», «Мера суда», «У Днепра»... Это было как во сне. Я впился глазами в его лицо, словно боялся потерять клад, который только что обнаружил... С тех пор прошло уже почти полстолетия, но, как будто вчера все это происходило, стоит передо мной образ великого писателя на том памятном вечере: его умные глаза под черными бровями, его нос,

слегка помеченный оспой, его толстая нижняя губа, которая тяжело шевелилась во время разговора. В моей памяти хорошо сохранился его густой низкий бас, который звучал с резкой силой и уверенностью. Такой голос ты узнаешь среди тысячи и никогда не забудешь.

Бергельсон с полузакрытыми глазами внимательно слушал чтение моего друга, а я внимательно следил за каждым движением маститого писателя, который время от времени делал короткие записи золотым пером, рисовал различные профили мужчин, женщин, деревьев, птиц. Этот листок остался после вечера на столе и стал моей собственностью. К сожалению, во время войны я эту реликвию потерял.

А Генех все читал одно стихотворение за другим и чем дальше, тем патетичнее, видимо, желая понравиться публике и, особенно, важному гостю. И это удалось. Выступающие единодушно высказали мнение, что молодой поэт вырос, что его стихи стали более зрелыми, интересными, содержательными, особенно, новый цикл Биробиджанских стихов, которые насыщены колоритом Дальнего Востока. Генех Койфман был доволен, но его вопрошающий взгляд был обращен к Бергельсону, и вместе с ним все присутствующие с нетерпением ждали, что скажет он?

Но главный судья не торопился. Прежде, чем взять слово и, как будто давая понять, что он никуда не спешит, он медленно снял свой черный пиджак, повесил его сзади себя на спинку стула у горячей печки и остался в красивом шерстяном клетчатом джемпере. Лишь потом он погладил себя по подбородку, будто у него была борода, и отозвался своим басом, который зазвучал как колокол: «Я согласен, что ты способный поэт и хороший парень, но я уверен, что пара оплеух вовремя и к месту никому не помешает... Поэтому, Генех, прости меня», и Довид Бергельсон, как опытный мастер пера проанализировал стихи, которые Генех только что прочитал. Я не помню точно подробности оценки, но осталась в моей памяти та часть его выступления, где Бергельсон почти читал проповедь об органической связи изобразительности пейзажа

*с настроением и лейтмотивом стихотворения. Я помню буквально его слова: «Твои песни, Генех, звучат красиво, часто свежо, но у тебя не хватает чувства меры. Ты нагромождаешь безжалостно одну картину на другую, украшаешь стихи слишком многочисленными драгоценными камнями, которые ослепляют, но греют мало, потому что у тебя получается неразбериха и хаос, я даже сказал бы какой-то поэтический понос...»*

*Генех при этих словах вытер пот со лба... Бергельсон это заметил. Он положил руку на плечо поэта и добродушно добавил: «Друг мой, не опускай нос! Все мы таким были в юности, парили в небесах... Ничего, ты подрастешь, из тебя получится толк и ты станешь поэтом».*

*На этом вечер закончился, и публика постепенно разошлась. Довид Бергельсон ушел в сопровождении группы писателей. Как я им завидовал... Мы, несколько сотрудников газеты, задержались еще на время; кто должен был закончить работу над материалом в газету, кто делился впечатлениями о вечере, стоя уже одетым и готовый покинуть помещение. Было уже поздновато, когда мы собрались уйти из редакции, как вдруг кто-то удивленно заметил, что на стуле возле печки висит черный пиджак — пиджак Бергельсона. Писатель забыл его одеть.*

*В моем сознании блеснула, как молния, мысль, и, боясь, что кто-нибудь меня опередит, я, не произнеся ни слова, в одно мгновение схватил пиджак и выбежал на улицу.*

*Бергельсон тогда жил в гостинице при недавно построенном железнодорожном вокзале, который находился недалеко от редакции. Мороза я не чувствовал. Я не шел, а летел, держа под мышкой мой клад. Швейцар в гостинице с подозрением меня оглядел, когда, запыхавшись, я с пиджаком в руке предстал перед ним. Но он все же повел меня на второй этаж и показал мне нужный номер. С сильно бьющимся сердцем я позвонил.*

*Двери мне открыл сам Бергельсон. У меня как бы отнялся язык, я остановился, как заколдованный. Увидев в моих руках пиджак,*

писатель все понял и рассмеялся: «Ну и голова... Большое спасибо вам, молодой человек, зайдите и закройте двери». Смелыми шагами я перешагнул через порог. Бергельсон взял у меня пиджак: «Поглядите-ка, Миллер, Бергельсон уже совсем спятил... Еще хорошо, что я штаны в редакции не оставил...» Лишь теперь я заметил в глубоком мягком кресле возле письменного стола Бузи Миллера, который после вечера в редакции провожал Бергельсона в гостиницу. Очевидно, молодой писатель, которого Бергельсон очень ценил, только что читал новый рассказ своему учителю. При моем появлении он сложил исписанные листки бумаги. Я стоял на пороге в смущении и не знал, куда деться. Мне так не хотелось уходить отсюда. Хотелось хоть немного побыть вблизи великого писателя, посмотреть на него, слышать его... Должно быть, умный Бергельсон понял, что творится в моей душе, и пошел мне навстречу: «Раздевайтесь, молодой человек, и присядьте, погрейтесь немного... Вот сейчас будет готов мой холостяцкий ужин, и я вас угощу таким блюдом, которое вы можете найти только у одного Бергельсона. Не стесняйтесь, почувствуйте себя как дома».

Скрывая радость, я снял свой пиджак и сел возле Бузи Миллера. Бергельсон возился с ложкой над алюминиевым казанчиком на электропечурке, стоявшей на письменном столе, и одновременно выспрашивал — откуда я родом, пишу ли, печатался ли? Может, я принес с собой что-то почитать? Нет? Жаль... Так и быть, оставим это на другой раз. А пока, братишки, придвиньтесь поближе к столу и вы увидите, что Бергельсон, кроме того, что может писать романы, еще что-то может. По сей день я помню вкус ужина у Бергельсона. Это было блюдо зеленых... В последующие годы я пробовал сам приготовить это блюдо, но должен сознаться, что это очень далеко было от того, что мы ели у великого писателя.

Глядя, как Миллер и я наслаждаемся едой, Бергельсон с наигранным мальчишеским тщеславием говорил: «Ну что я вам говорил? Вы еще когда-нибудь такое кушали? и что вы думаете, я туда положил? Немножко... кусочек масла, немножко сахара и все... Вот



*так, друзья мои, в каждом деле, даже в литературе... Важно не то, что вкладывают в варево. Искусство состоит в том, как вкладывать...» «И еще кто вкладывает», — вмешался Бузи Миллер. Бергельсон улыбнулся: «Ну, это уже от бога...»*

*Еще долго мы сидели у гостеприимного хозяина, который делился с нами впечатлениями о еврейской автономной области, ее жителях, биробиджанских писателях. Он с удовольствием рассказывал о своих творческих планах. Лишь поздно ночью, мы, переполненные хорошими чувствами от близости общения с великим писателем, нехотя ушли из гостиницы.*

*И еще одна встреча с Довидом Бергельсоном в Биробиджане осталась у меня в памяти. Это случилось в ту же самую зиму. Вместе с Генехом Койфманом мы жили по соседству с писателем Гиришем Добиным. Добин уже с неделю лежал больной дома, и мы заходили к нему после работы каждый день справиться о его здоровье, поделиться новостями и вообще побеседовать. В один из таких вечеров мы — Бузи Миллер, Генех Койфман и я, сидели у больного и пили чай. Добин, лежа в кровати, прочел нам свой новый рассказ. Вдруг кто-то постучал, и в дверях неожиданно появился Довид Бергельсон...*

*Его приход на нас произвел такое впечатление, будто сам Илья Пророк к нам пожаловал. Бергельсон привык к впечатлению, которое он производил, когда наносил свои неожиданные визиты: куда бы он ни приходил, он сразу же чувствовал себя по-домашнему и естественно: «Что? Не ждали? Что же остается вам делать? Обратнo ведь на мороз вы меня не выставите?» Симпатичная жена Добина совсем растерялась. Она покраснела и не знала, куда усадить гостя. Бергельсон ее успокоил и устроился на стуле возле больного.*

*«Я вижу, Добин, вы симулянт, лежа читаете сказки». Тут Бергельсон о чем-то вспомнил. Он подошел к своему добротному меховому пальто, висевшему у дверей, вынул из обоих карманов несколько апельсинов и положил их перед Добиным.*

*«Слушайте, Добин! Апельсины это лекарство от всех болезней. Тут вы имеете солнце вместе с витаминами — как раз то, что, вам, Добин, теперь не хватает». Я заметил, как жена Добина в отчаянии орудует в буфете, соображая, чем угостить гостя. Мы переглянулись с Добиным. Наверное, это заметил и Генех Койфман и, словно сговорившись, мы одновременно выскочили из комнаты и побежали в гастроном, где в спешке, очень торопясь, купили пару бутылок вина и еще кое-что.*

*И когда на столе появился кагор и закуска к нему, Бергельсон от удовольствия потирал руки: «О, я вижу тут настоящий пир!» Он первый поднял рюмочку: «Если так, так выпьем за здоровье нашего друга Добина, чтобы он быстрее выздоровел и больше не болел». После третьей рюмки за столом стало более оживленно. Мы почувствовали себя более раскованными и совсем по-домашнему, свободно завели разговор о литературе и писателях. Собственно говорил один Бергельсон, мы же, присутствующие, наводили гостя на нужный путь, и больше ничего не требовалось. Бергельсон вошел в свою стихию рассказчика, а рассказывал он чудесно: каждый человек, каждая зарисовка, каждое событие у него оживали в полном своем воплощении. Говорил писатель спокойно, мягко и выразительно, меняя соответственно нужному месту богатую интонацию, зачастую артистично... Перед нашими глазами возникали, как живые, Менделе, Ан-ский, Шолом Алейхем, Перец, Шолом Аш, Вайсборг, Сегалович, Опатошу, Номберг, Лейвик... В устах рассказчика они возникали перед нами не только в знакомых всем образах. Бергельсон передавал нам такие подробности встреч с писателями, что мы, его слушатели, глотали каждое слово, переносясь в иной незнакомый нам мир.*

*Я не помню точно, каким образом Бергельсон перенесся в своем рассказе в Киев и с особой теплотой рассказал нам о своей первой любви, так, будто это было вчера. В его рассказе не было недостатка в комических ситуациях, при этом его*

глаза светились юношеским задором. Да, Бергельсон был в ударе! И мы с ним засиделись, совсем отключившись от времени и места, до самой полночи... И вдруг он, спохватившись, посмотрел на часы: «Э, ребята, я, кажется, немножко тут засиделся с вами». И, обращаясь к больному, сказал: «Выгоните меня, Добин, иначе вы от меня не избавитесь. Выспитесь хорошенько, это самое лучшее лекарство».

Добин ответил, что самое лучшее лекарство он уже получил — это сегодняшний вечер...

С чувством глубокого сожаления, как будто мы теряем что-то очень ценное, провожали мы Бергельсона в гостиницу, в его номер...

## Лейб Квитко

Как я уже однажды заметил, я довольно рано начал писать стихи — около девяти лет от роду. Стихи были плохие, писал я их тайно и стеснялся кому-то их показывать, как будто я делал что-то непристойное. Читал я мало, но к литературе меня тянуло очень. С увлечением я слушал моего отца, который артистически читал Шолом-Алейхема, Переца, Аврома Рейзена, поэтов Довида Эдельштата, Бовшовера и других, чтение и декламацию наших учителей в школе, особенно учителя Левы (Лейб Гольдин). Мои первые написанные строки в газете я увидел около тринадцати лет. Как делегата республиканского слета юных путешественников в Харькове, на котором дети рассказывали о своих «путешествиях» по свету (путешествовали обязательно по определенному избранному маршруту), корреспондент еврейской детской газеты Сема Кипнис попросил меня написать о моем «путешествии» в Польшу, которое я сам выбрал, и я написал. Через несколько дней моя заметка была напечатана под большим заголовком: «Советский Союз — это моя Родина». Увидеть в первый раз в газете собственную фамилию — это целое событие,

которое возвеличивает в собственных глазах. Думаю, что буду не далек от истины, если скажу, что первое напечатанное слово — это точно первый глоток наркотика — тому, кто его попробовал, уже трудно от него отказаться... Уже не говоря о том, что учителя в школе, как и ученики, меня поздравили с моим первым дебютом и начали ко мне относиться серьезнее. Я сам подтянулся, стал немного «солидней», отпустил более длинные волосы и начал... покуривать папиросы.

Понемногу я начал писать. Способствовала этому памятная встреча с писателем Львом Квитко. Было это в 1932 году. Вместе с другими учащимися нашей школы я присутствовал на литературной встрече в Харьковской еврейской 48-й школе, где еврейские писатели Иосиф Котляр, Абрам Коган, Файвл Сито читали свои произведения. Когда объявили о выступлении Льва Квитко, в зале поднялся штурм: кто из детей не знал наизусть его прелестные стихи, которые прямо-таки сами просились на язык, чтобы их декламировать.

Квитко приблизился к рампе на сцене. Я писателя тогда увидел впервые. Его светлое лицо с румяными щеками еще больше зарумянилось, и его глаза засияли от сознания, что дети его так любят. Звонким, чистым, как родниковая вода, голосом он с воодушевлением читал свои детские стихи: «Скрипочку», «Санки», «Кошечка». Когда он только начал: «А у нас есть кошечка» — все дети в зале как один подхватили этот стих, и чтение превратилось в коллективную декламацию. После встречи, когда писатели вышли из зала, я вместе с другими детьми пошел за ними вниз по ступенькам, мне хотелось поближе посмотреть на Льва Квитко. Никем не замеченный, я шел за ним по улице и очень завидовал девочке, которая шла с ним рядом и с которой он добродушно беседовал. Они подошли к трамвайной остановке, и я — за ними. К моему удовольствию, мы ехали в одном направлении, и в трамвае уж так получилось, что я сел возле писателя, который продолжал беседовать в приподнятом настроении на своем

красивом идиши со смеющейся девочкой. Я не мог оторвать от них взгляд, и, словно свой, смеялся вместе с девочкой над шутками Квитко. Писатель это заметил и перенес свое внимание на меня. Он с неподдельным любопытством выпрашивал у меня, кто я и что я собой представляю.

Должно быть, теплота, с которой Квитко разговаривал со мной, рассеяла мое стеснение, и мы вскоре беседовали с ним как хорошие знакомые, которые после долгого перерыва случайно встретились в трамвае... Я не заметил, как проехал мою трамвайную остановку. Вдруг Квитко меня спросил: «Ты, наверное, пишешь стихи?» Я признался, что так и есть; тогда он дал мне свой адрес и пригласил меня на завтра к себе домой. Когда мы простились, я как будто бы упал с неба. Мне казалось, что все, что со мной только что случилось, лишь сон; мне даже не верилось, что меня, тринадцатилетнего мальчишку, пригласил к себе домой сам Лев Квитко... Я еле дождался завтрашнего вечера. Была поздняя осень. На дворе шел дождь. С тетрадью стихов в кармане и в далеко не приличном пальто, полный мечтаний о предстоящей встрече, я отправился в Дом Писателей. Дом был новый, недавно построенный, улица темная и заболоченная. На лестнице, оглядывая свои грязные ботинки, я почувствовал себя не в своей тарелке. С сердцебиением я остановился перед дверью, на которой висела табличка с фамилией писателя. Я хотел позвонить, но рука не поднималась, будто меня парализовало. Какой-то страшный испуг на меня напал и, не соображая, что я делаю, я сбежал вниз по ступенькам, выбежал наружу и помчался домой... Очень долго я не мог уснуть и не мог простить себе свое малодушие... Так закончился мой первый визит к Льву Квитко...

На другой день в школе мне ни одно слово не лезло в голову, меня все время грызла досада. На большой перемене я отозвал в уголок коридора моего товарища из параллельного класса Борю Мильштейна и по секрету рассказал ему о моем знакомстве с Львом Квитко. О своем вчерашнем «визите» к писателю

я рассказать постеснялся. Сначала Боря воспринял мой рассказ с недоверием. Чтоб я так запросто беседовал с Квитко в трамвае?! Но когда я ему доверительно сообщил, что писатель пригласил меня к себе домой и при этом я предложил Боре пойти туда со мной вместе, тут мой товарищ понял, что это не шутка и охотно принял мое предложение. Я успокоился и словно камень упал у меня с души... Идти с кем-то вместе не так страшно как одному. Почему же я выбрал именно Борю? Боря Мильштейн был красивым парнем, смелым активистом в школе, которого любили все. Кроме того, Боря писал стихи, которые публиковали в стенгазете. Мне нравились его стихи, и мне хотелось, что если не мои, то хоть Борины стихи понравились бы Квитко.

В тот самый вечер в согласованный час мы с Борей по уже известной мне дороге отправились в Дом Писателя. В этот раз я чувствовал себя уверенней. Позвонил в двери мой товарищ. И тут на меня снова напал страх, но ненадолго, потому что в дверях показалось расцветшее в улыбке лицо Льва Квитко. «О!!! — почти закричал он, словно увидел своих самых близких друзей, — входите, входите... Этеле, иди-ка сюда! Посмотри-ка, какие гости у нас!» Из комнаты в коридор вышла красивая девочка в нашем возрасте, и я узнал в ней девочку, с которой Квитко ехал в трамвае. Это была дочь писателя — ученица харьковской девятой школы. Одновременно с Этеле из другой комнаты вышла к нам симпатичная, еще молодая, брюнетка — жена писателя. Все они вместе ухаживали за нами, помогали нам раздеться и ввели нас в кабинет писателя — небольшую продолговатую комнату, где, кроме письменного стола и большого книжного шкафа, стояла маленькая тахта и два мягких стула. Все вокруг сияло чистотой. Сам Квитко, чисто выбритый, в красной верхней рубаше, светился свежестью и здоровьем. На стене напротив окна висела большая, написанная красками картина, выполненная в стиле кубизма. Я представил Борю, и Квитко похвалил меня за то, что я пришел вместе с товарищем. После короткой беседы, во время которой Квитко нас

расспрашивал о наших родителях, братьях и сестрах, мы прочитали наши стихотворения: первым читал Боря. Читал он красиво, выразительно и по довольному лицу писателя я понял, что Боря ему понравился. От моего глаза также не ускользнуло, что Этеле, сидя напротив нас на тахте, поглядывала на Боря и при этом что-то рисовала в альбоме. Это было естественно — Боря всем нравился. Когда Боря закончил читать, Квитко встал из-за письменного стола и по-братски обнял моего товарища: «Хорошо, Боря, хорошо». Он в очень деликатной форме сделал несколько замечаний, а затем обратился ко мне: «Бениамин, давай-ка тебя слушаем». После того, как Боря прочел свои стихи, у меня желание читать пропало. Я был уверен, что стихи моего товарища лучше. Разочаровывать Квитко я не хотел и тут же на месте принял импровизированное решение: вместо тетради со стихами, открыл свою вторую тетрадь, которую захватил с собой «по дороге» просто так, на всякий случай, и начал читать мою прозу — рассказ о рабочем квартале в Балете в Лодзи. Я помню, что старался читать выразительно и красиво, потому что читал не только для Квитко, но также для его дочери... От волнения я pokrылся потом и, время от времени, мой язык начинал заплетаться, так что мне пришлось повторять целые фразы, и я боялся поднять свои глаза, но чувствовал, что Квитко слушает меня с большим вниманием. Когда я закончил, он забрал у меня тетрадь, несколько минут ее смотрел и без эмоций спросил или я еще что-то написал в прозе. Мой рассказ ему понравился, и тетрадь мою он оставил у себя. Мне он также посоветовал писать.

Потом мы долго беседовали с ним. Писатель рассказал нам о своем детстве. Он также прочитал нам только что сочиненную им детскую песенку «поросята», которой он, видимо, сам был доволен.

На прощание Квитко приласкал нас по-отечески, уцупнул за щеки и просил приходить к нему с новыми стихами и рассказами в любое время.

*Я вышел от писателя переполненный счастьем и настоящей человеческой теплотой. Чувство теплоты к этому чудесному человеку и писателю я сохранил в себе навсегда.*

## Эвакуация

Я окончил первый курс, перешел на второй. От отца приходили душераздирающие письма. Весной 1942-го мы неожиданно получили письмо от харьковской военной (!) прокуратуры, в котором сообщалось, что дело отца пересмотрено, с решением отменить приговор, и передано в Москву в Главную прокуратуру для окончательного утверждения.

Наша радость не имела границ. Сведущие люди и юристы нас уверяли, что это золотая бумага и что совсем скоро отца освободят. Я ощутил огромный подъем и приток свежих сил. Письмо отца пробудило оптимизм и надежду. Но, к несчастью, бумаги отца заблудились или осели в далеких канцелярских ящиках и как в воду канули...

Жестокое известие о нападении Гитлера на Советскую Россию я услышал, когда готовился к экзаменам после окончания второго курса. Это сообщение поразило меня, словно удар молотом по голове. Я был в шоковом состоянии. Придя в себя, я стал успокаивать себя тем, что ежедневно слышал и читал: война долго не продлится, у нас огромная сильная армия, Гитлер совсем скоро сломает себе шею и фашизму придет неизбежный конец. Но когда на улицах Харькова показались беженцы из Киева и других западных городов, на душе стало скверно, настроение упало. О продолжении учебы нечего было и думать.

Заклеенные бумажными полосами окна, огромные очереди за хлебом, воздушные тревоги, светомаскировка, комендантский час, дежурства на крышах, бомбоубежище, озабоченные лица людей — это все стало каждодневной картиной...



В один из таких дней к нам в комнату постучала красивая девушка, с потемневшим от солнца и страданий лицом. Она передала мне письмо от моего друга Генеха Койфмана, который писал мне из окопов из-под Киева. Уже с первых дней войны он был мобилизован и, как он мне писал, даже успел понюхать пороха... Кто тогда мог предположить, что это будет последнее его письмо. Девушка, принеся мне письмо, была студенткой Киевского Университета и невеста Генеха. Она еле-еле успела выбраться из своего родного города; больше половины пути она прошла пешком. Моя мать помогла ей вымыться, накормила ее, и я отправился с ней к моим знакомым, где устроил ей угол, а затем и в Харьковский Университет. К сожалению, это было ненадолго...

Вместе со многими студентами нашего института я был мобилизован в студенческую дивизию, которая копала противотанковые рвы на оборонительной линии под Харьковом. В поле под открытым небом мы из соломы и веток построили поселок из шалашей, и тут на голой земле, подстелив траву, мы спали, прижавшись один к другому. С рассвета до позднего вечера мы копали и копали до боли во всем теле и до мозолей на ладонях. Солнце нещадно жгло наши полуголые тела, а во время дождя мы промокали до костей. Но молодость остается молодостью. Несмотря на серьезное положение, тяжелую работу и скудный паек, народ был настроен оптимистически. Песни, смех, шутки, анекдоты прямо сыпались из шалашей после работы до поздней ночи. Само собой разумеется, что там, где молодость, там расцветает любовь. Образовалось немало парочек. Для некоторых из них это стало началом совместной жизни...

Из-под Харькова нашу дивизию перебросили ближе к Днепропетровску близ станции Новомосковская, где днем и ночью шли ожесточенные бои с наступающими немцами. Они засели в сельских домах. В первые ночи мы мало спали, прислушиваясь к непрекращающейся канонаде и наблюдая за вспышками обстрелов, освещающими черный небосвод, как молнии. Фронт был совсем

близко. Постепенно мы привыкли к оружейной стрельбе и после трудного дня спали, как убитые.

Страшно было, когда над нашими головами среди белого дня появились вражеские самолеты. Их нарастающий гул вызывал ужас, и мы бежали от рвов в поле, припадая к высокой траве, пытаясь спрятаться от налета. Во рвах остались лишь солдаты из саперного батальона, копавшие вместе с нами. На самодельном тренажном станке у них был пристроен нацеленный в небо пулемет «Максим», который должен был служить зениткой... При появлении немецких самолетов, командир батальона, должно быть, только из запаса, выхватил из кобуры свой пистолет и, выкрикнув команду: «По немецким самолетам — огонь!» — начал палить из своего пистолета в небо. Одновременно начал строчить «Максим». С сильно бьющимся сердцем, лежа в высокой траве, прикрыв головы лопатами (потом мы долго смеялись над такой защитой), мы наблюдали, как немецкие стервятники засыпали бомбами железнодорожную станцию и элеватор. Нас, копателей, они угощали из пулеметов. Пули стежкой ложились недалеко от нас. К счастью, никто не пострадал. Это было наше «боевое крещение». Такие нападения потом не раз повторялись, но мы и к ним привыкли.

Мы еще далеко не закончили рыть противотанковые рвы, как вдруг пришел приказ: немедленно бросить работу и поскорее убираться...

По воинским частям, уходящим в спешке с фронта, по приближению канонады нетрудно было догадаться, что враг форсировал Днепр. Побросавши по пути чемоданы, рюкзаки, лопаты, кирки и все, что имело вес, мы в величайшей спешке, испуганные, удирали.

Позже, в полном беспорядке, растянувшись на несколько километров, мы шагали по пыльной дороге вместе с отступающими войсками. Наше начальство удирало на машинах. Ночью, лежа в скирдах соломы в поле, мы с болью в сердце смотрели, как горела недалеко от

нас после налета фашистской авиации железнодорожная станция и эшелоны со снарядами. Наутро, над маленькой деревушкой Лиханово, где мы только что остановились на отдых, появилось несколько стервятников и на наших глазах в течение нескольких минут разбомбили вокзал и эшелон с людьми. Как мы позже узнали, там погибли несколько студентов из нашей дивизии.

В Харькове мы пришли грязные, голодные, измученные до последней степени. За время нашего отсутствия атмосфера в городе изменилась. На лицах людей была растерянность, они носились по улицам, появились грузовики, груженные домашними вещами — началась эвакуация...

Каждую ночь немецкая авиация систематически бомбила город. Взрывы, пожары, сирены, тревоги не давали жить. Наш мединститут был назначен к эвакуации в столицу Киргизии — Фрунзе<sup>1</sup>. На нашем малом семейном совете мы решили: я еду с институтом, мой брат вместе с матерью с эшелоном велозавода, который должен был отправиться позже. При этом мы договорились, как найти друг друга. Положив свои вещи в «историческую» кошелку, поездившую со мной по свету, попрощавшись со всеми, я отправился на вокзал. Тут я узнал, что отъезд института по определенным причинам откладывается на следующий день. Я возвратился домой. Вечером мой брат принес новость, что его мобилизовали в истребительный батальон, и он останется в Харькове до последнего дня. Это известие свело на нет наши прежние планы, потому что пустить маму одну в путь — об этом даже и думать не приходилось. Остался один выход — вместе с матерью поеду я.

6 октября 1941 года, после обеда, нас на грузовой машине вместе с другими беженцами повезли к велозаводу, где стоял эшелон. Это был длинный состав с товарными вагонами. Рабочие завода нагрузили открытые вагоны станками и оборудованием. Для эвакуировавшихся был подготовлен товарный вагон — пульман

<sup>1</sup> Ныне Бишкек. — *Прим. ред.*

— где были оборудованы двухэтажные нары из необструганных досок.

Мы с мамой захватили нижние нары и кое—как распихали наши скромные пожитки. А пока что настал вечер и вместе с темнотой налетели немецкие стервятники, и в этот раз жребий пал на нас.

Невозможно передать, что творилось. Сначала с самолета посыпались ракеты, осветившие все вокруг, как будто это было днем; потом лишь начался ад: бомбы с ужасающим воем, от которого стыла в жилах кровь, ложились недалеко от нашего эшелона. Вокруг полыхали пожары, горел радиозавод, конный рынок, жилые дома. Зенитки колотили, как сумасшедшие. Люди из нашего вагона разбежались, куда глаза глядят. Я схватил маму за руку и побежал с ней к щели у ворот завода. Мы еще не успели спуститься по ступенькам, как воздушная волна от близкого разрыва бомбы сбросила нас в щель. Земля посыпалась на наши головы; дикий крик вырвался у находившихся там людей. Мама вцепилась в меня и стонала жалобно: «Вот и конец...» Я то же самое повторял про себя: «Конец, конец...»

Сбросив свой смертоносный груз, бомбардировщики оставили небо над городом. Люди вылезали из своих укрытий, как ежи из своих нор. Утром тяжело нагруженный эшелон двинулся с места, и все обитатели нашего вагона были счастливы, что мы уже едем. После страшной ночи на нарах царило приподнятое настроение людей, вернувшихся с того света. Мы друг друга не знали, даже не успели друг друга рассмотреть, между тем мы чувствовали себя сплоченными в единую дружную семью, которую объединила одна судьба. Обращаясь к кому-либо, каждый подыскивал мягкие деликатные слова и обязательно с доброй улыбкой. Да, великие потрясения объединяют людей, очищают их от эгоизма, зверства и подлости. Но, к сожалению, ненадолго...

Наш пульман с набитыми на нарах шестьдесятю душами, взрослыми и детьми, производил впечатление клетки, набитой

беспокойными курами, не перестававшими возиться. Каждый был занят устройством своего хозяйства. При этом в невероятной тесноте один другого толкал и наступал на ноги, и лез прямо на голову. После первого припадка «взаимной любви», царившей в вагоне утром, теперь, с каждым километром пути, начали пробуждаться свойственные людям собственнические инстинкты. Сначала началась борьба за территорию, каждый хотел отхватить себе кусок за счет другого. Измеряли доски на нарах пальцами, палочками, спорили за каждый сантиметр, взывали к порядочности и справедливости. А женщины кричали на своих детей, для которых обстановка в вагоне была как забава, праздник, и они разошлись во всю. От криков болели уши.

Но вот наш эшелон прибыл в Купянск, остановился на станции между другими эшелонами. Тотчас, как будто они этого и ждали, налетели со страшным шумом почти над крышами вагонов три «Мессершмидта». От близких разрывов наш пульман вздрогнул, и в вагоне воцарилась мертвая тишина. Все сгрудились, забыв о своих территориях, за которые минутой раньше готовы были сожрать друг друга... Снова всех охватила одна мысль, одно желание, чтобы эшелон как можно быстрее покинул станцию. Такое в первые дни нашего путешествия, пока эшелон пробирался в сторону Москвы, случалось нередко.

Понемногу страсти и раздоры утихли. Совместными усилиями мужчины установили железную печурку с трубой, выходившей в окно. Место вокруг печи стало нашей гостиной, нашей центральной площадью, где женщины, отталкивая друг друга локтями, варили кто кашку для детей, кто кастрюльку с чаем. Тут также спорили об очереди... Более спокойные мужчины курили здесь свою махорку в самокрутках из газетной бумаги и обсуждали до поздней ночи положение на фронтах.

Население в нашем вагоне было колоритным, разнообразным: старые люди, инвалиды, несколько молодых людей и девушек, евреи, русские. Наша «одиссея» на колесах затянулась. За два

с половиной месяца мы проехали полстраны. За это время мы хорошо узнали друг друга, привыкли, вернее, приспособились друг к другу, как это водится в большой коммунальной квартире. При этом образовались различные лагеря со своими иерархиями, ведущие между собой скрытую, а иногда и открытую борьбу. Закон сильнейшего не обошел этот маленький островок на колесах. Не знаю почему, я далек от самовосхваления, но мы с мамой остались в стороне от этой кутерьмы вокруг нас. Каждая из «общин» старалась завербовать нас к себе и часто апеллировала к нам, будто мы были верховной судебной инстанцией. Вероятно, это было связано с тем, что на меня смотрели почти как на доктора, — как-никак, а все же перешел на третий курс медицинского института, а к докторам, как известно, испытывают почтение. Что же касается мамы, то один лишь ее вид, лицо редкой красоты с умными, сияющими глазами, ее манера держаться, вызывали у всех уважение. Глядя на ссоры и склоки, моя мать качала головой и на ее тонких губах появлялась многозначительная усмешка, будто она хотела этим сказать: «Эх, людишки, людишки...»

Нашими соседями по нарам была Мадам Фриц и ее восемнадцатилетний сын Миша. Кличку «Мадам» ей присвоила моя мать, и это ее не оскорбляло. Наоборот, это ее возвышало в собственных глазах, и она всем своим поведением старалась в этом звании утвердиться. Женщина лет сорока, она надела на себя снежно-белый, накрахмаленный с острыми отворотами фартук, говорила выразительно, «интеллигентно», в манере водевильной дамы.

На фоне тесного грязного вагона ее одиозная фигура выделялась. Она, не переставая, рассказывала какая она хозяйка, как она готовит, как стирает, как убирает, какое хозяйство она оставила дома. Я не преувеличиваю: Мадам Фриц, чтобы доказать свое умение, на досках своей «территории» приготовила из горстки муки, случайно взятой с собой в дорогу, креплекс<sup>1</sup>. Не надо было ходить в театр, чтобы посмотреть, как Фрицы пробирались

<sup>1</sup> Креплекс — пельмени с вареным мясом. — *Прим. ред.*

к печурке, неся над головой хлебец с креплех. Моя мать тихо давила от смеха.

За два с половиной месяца пути обитатели нашего холодного вагона не раздевались, спали в одежде, не купались, словно пещерные люди, и прошло немного времени, как мы завшивели. Все чесались: кто втихомолку, кто демонстративно. Мадам Фриц интеллигентно — вилкой. Но довольно о Мадам Фриц.

Слева от наших нар были соседи, достойные пера Менделе Мойше Сфорима: тетя Фива, ее сестра Хана и дочь Лиза. Старшая дочь тети Фивы, Фрида, работала на велозаводе конструктором в том же отделе, что и мой брат, и по определенным причинам задержалась в Харькове. Моей соседкой по нарам была Лиза — калека неопределенного возраста с большим горбом, достигавшим одного уровня с головой и словно сросшимся с ней. Ее длинное, необыкновенно вытянутое лицо было похоже на дыню. Ее бесцветные, широко открытые глаза беспокойно блуждали, будто они что-то искали — она была совершенно слепа. Всем своим обликом она напоминала гнома. Первое время было невозможно смотреть на эту несчастную и особенно мне, на долю которого выпало спать возле нее. Ночью меня охватывал ужас, когда я чувствовал, как ее пальцы блуждают по моей постели: это она проверяла, не нарушил ли я ее границу. Утром она своим визжащим голосом заявляла всему вагону, что я захватил ее территорию на целых два пальца, что вызывало всеобщий смех, двусмысленные шутки в мой адрес...

Мы все были изумлены, глядя, как Лиза, ничего не видя, диктаторски пыталась командовать двумя пожилыми женщинами — своей матерью и теткой Ханой, которые, как двое верных рабов, молча выполняли любое ее желание. Если что-либо было не по ней, слепая поднимала такой скандал, что дети пугались... Лиза безошибочно знала, где у них лежит каждая одежка, каждая ложка, всякая мелочь. Она, слепая, даже знала величину и цвет вещей. Она, не видя, беспрерывно отдавала приказания своей маме

и тете, что, как и сколько варить. В свободное от командования время она сидела на краю нар и визгливым своим голоском, напевала себе под нос многочисленные песни, романсы и арии из различных опер, декламировала стихи и целые поэмы классиков. Но любимым ее коньком была международная политика, в которой она хорошо разбиралась. После стоянок эшелона на станциях мы все обязаны были отдавать ей отчет, что передают по радио, что происходит на фронтах и во всем мире. Она глотала каждое слово и высказывала свои комментарии и прогнозы.

После того, как я установил между нашими постелями дощечку и Лиза утвердилась, что я не покушаюсь на ее территорию, она мне стала лучшим другом и я, как ближайший ее сосед, вынужден был ей выказывать немало внимания, в основном снабжать ее последними новостями. Также и моя мать, бывшая немалой поклонницей литературы и политики, пользовалась у Лизы большой симпатией.

Ближайшие соседи на верхних нарах над головой у нас были супруги Фрейденберг, пара пожилых людей. Муж был старым кадровым слесарем, проработавшим на велозаводе много лет. Он трогательно ухаживал за своей «мамочкой» и последняя с нескрываемой нежностью называла его не иначе, как «папочка». Детей у них не было и всю свою любовь эти двое пожилых людей отдавали друг другу.

К сожалению, смерть сурово вмешалась в их союз. Это случилось меньше, чем через три месяца после начала нашего путешествия. Наш эшелон медленно пробирался через заснеженные безбрежные степи. Мороз был бессердечен к нашему пульману. Он затянул стены вагона в ледяную кольчугу и остудил шумную жизнь его обитателей — взрослых и детей, грустно кутавшихся на нарах в свои одеяла. Даже слепая Лиза исчезла, и теперь редко слышно было ее визжащий голосок. Единственное окошечко в вагоне и многочисленные щели были заткнуты тряпьем и, хотя железная печурка с трубами была накалена докрасна, мороз, брал



свое и в первую очередь забрался в слабые легкие «мамочки». Она лежала на нарах над нашей головой, тяжело дышала и тихонько стонала. Мои познания в медицине были даже не минимальными. Я успел закончить два курса института, где мы изучали общие предметы; клиническую медицину начинают лишь на третьем курсе, и я, по выражению моей мамы знал лишь «болячки». И все-таки взгляды всех в нашем жилище обращены были ко мне. Я же от своей беспомощности чувствовал себя очень подавленным. Кроме как проверить пульс больной, поднести к ее посиневшим губам чашку теплого чая с таблеткой аспирина и подбодрить ее, я был не в состоянии что-либо сделать.

На одной большой станции, не помню уже на какой, наш эшелон в очередной раз остановился между многочисленными, загаженными железнодорожными линиями, ожидая локомотива, я отправился в медицинскую амбулаторию недалеко от вокзала и еле упросил местного старого доктора пойти со мной к больной в нашем вагоне. Раздеть и обследовать «мамочку» в холодном вагоне было невозможно, поэтому доктор ограничился измерением температуры и исследованием пульса. После этого он доверительно дал мне понять, что больная обречена. Он оставил несколько таблеток, дал несколько указаний относительно присмотра за ней и слез по лестенке с вагона. Через пару часов старая Фрейденберг потеряла сознание и в жару начала бредить. Целую ночь сидел «папочка» на нарах над своим другом жизни и из глаз его в густые тяжелые усы скатывались крупные слезы. Стоны больной, мятущиеся тени, отраженные от маленькой лампадки, монотонный перестук колес — все это наводило ужас.

Мало кто из взрослых спал в эту ночь, но все молчали, и я уверен, что каждым владело одно и то же настроение — безысходности. Утром, когда первые лучи света проникли через щели в дверях вагона, больная вдруг пришла в себя, громко отдышалась, словно после тяжелой работы, села, сняла платок с головы и внятным голосом сказала мужу: «Конец, я уже здорова...

Папочка, я хочу есть...» Все, наблюдавшие эту картину, были ошеломлены, когда старуха начала есть кусочек хлеба и запивать его чаем. У всех вырвался вздох облегчения, и в вагоне наступило радостное оживление, смешанное с трогательным чувством. Каждый стремился протолкнуться через узкий проход поближе к Фрейденбергам и сказать несколько ласковых слов.

«Мамочка» ела и улыбалась и даже пыталась шутить... Это чудо продолжалось не более 10—15 минут. Старушка прилегла на подушку, закрыла глаза и умерла...

Если я бы сам не присутствовал при всем, что произошло, я бы ни за что не поверил, что такое возможно. Покойницу мы сняли с вагона в Оренбурге. Тут остался старый осиротевший Фрейденберг, чтобы похоронить в далеких краях свою жену. А наш эшелон отправился дальше...

Уже много лет, как меня не покидает мысль, вернее сравнение, что люди вокруг нас как яблоки на одном дереве. На первый взгляд они все одного сорта, но присмотреться к ним поближе, сорвав их с ветки и оглядев в руке, мы обнаруживаем, как не похожи эти фрукты: одни большие, красивые, другие маленькие, деформированные, третьи снаружи довольно хорошие, но изнутри — червивые. Вот так и люди. Только в экстремальных обстоятельствах и в тесном кругу выплывают их положительные стороны и их слабости.

Обитатели нашего пульмана, закрытые на нарах как в клетке, не были исключением из этого правила. Как бы один перед другим не старался скрыть свою грязь и выставить напоказ свою добродетель, как водится обыкновенно в любом обществе, это ему не удавалось. За два с половиной месяца нашего путешествия, в конце концов, все мы открылись во всей нашей полной наготе, и никто теперь ни в чем уже не стеснялся.

В самом конце вагона на первом «этаже» занимали свою территорию Урманы: старая мать с двумя сыновьями уже не первой юности — Аркадий и Довид. Младший, Аркадий, работал на

велозаводе слесарем. Чем занимался старший, осталось тайной. Всем своим поведением этот тип старался окутать свою персону таинственной оболочкой, желая вызвать к себе интерес.

В первые дни жизни на колесах Урманы были в высшей степени скромны и любезны с окружающими, предупредительны ко всем, как говорится, хоть прикладывай к болячке. Правда, на меня и на мою маму это семейство с первого же дня произвело не самое лучшее впечатление: уж слишком сладкими, слишком хорошими они хотели казаться. Старший брат, Довид, своей «интеллигентностью» напоминал Шолом-Алейхемовского жениха с его выходками. Братья искали моего общества, но чем больше они ко мне липли, тем неприятнее это для меня было. А когда я узнал, что они оба оставили в Харькове на произвол судьбы своих жен и детей, и видел, как они пытаются завести романы с молодыми женщинами в вагоне, я просто стал их презирать и избегал их общества.

Не помню, на какой станции мы стояли, когда, лежа с книжкой на своих нарах, я услышал шум и крики снаружи. Я подбежал к двери вагона и увидел возле нашего вагона окровавленного человека, лежащего на соседнем железнодорожном пути, а над ним братьев Урманов, избивающих его немилосердно. Я еле узнал в пострадавшем нашего попутчика — дядю Васю Колесникова, пожилого рабочего с велозавода, одинокого тихого человека, инвалида с деревянной ногой. Присутствовавшие при этом женщины криками пробовали остановить экзекуцию, но разошедшиеся братья не могли оторваться от своей жертвы.

Не зная, что здесь происходит, с затуманенной от гнева головой, я спрыгнул на платформу и бросился на драчунов. От неожиданности Урманы на минуту остановились, изумленные, но в следующее мгновение взялись за меня. Но тут уже вмешались несколько человек и охладили братьев. Дяде Васе мы помогли забраться на свое место в вагоне. Он нам рассказал, что они напали на него потому, что он им заметил, что неприлично приставать

к женщинам в вагоне, мол, таким бравым ребятам больше подходит выказать героизм на фронте. После этого инцидента все в вагоне отвернулись от воинственной семейки.

Во мне же братья увидели самого большого врага и не могли мне простить, что я заступился за «гоя». Излишне рассказывать, какими словами они меня награждали, я думаю, что у Мойши Пута — главаря домика на улице Логовницкой — покраснели бы уши. От славных братков не отставала их мать, которая, я в этом уверен, могла бы с успехом заменить вышеупомянутого Мойшу...

Наш эшелон назначен был к эвакуации в город Горький, и мы должны были туда попасть через Москву. Дорогу из Харькова до Москвы, занимавшую десять часов, мы проделали за десять суток. 16-ого октября наш вагон поставили в тупик на станции Домодедово, что в 35 верстах от столицы. Мы никогда не знали, сколько времени наш эшелон будут держать на станции. Не знали мы этого также и в Домодедово. Но близость Москвы действовала обнадеживающе, каждый из нас мечтал пополнить запас продуктов, который понемногу таял в пути.

Рискнуть на поездку в Москву отважился бы не каждый, особенно после нескольких случаев, когда некоторые из нашего вагона отстали от эшелона и потом в течение нескольких часов и даже суток догоняли его с происшествиями и переживаниями, с трудом находя свой поезд. Впрочем, и я однажды много часов подряд, замерзший, на открытой платформе догонял мой потерявшийся состав, и моя мать чуть с ума не сошла. И все-таки я не устоял и вместе с еще одним парнем, семнадцатилетним Саней Свирским, отправился электричкой в Москву. Как известно, 16 и 19 октября 1941 года были самые страшные дни для Москвы, когда враг уже стоял у города, и я собственными глазами с тяжелым чувством наблюдал суровую картину осажденной столицы.

Рассвет был серым, лица у жителей города были серыми, серьезными, озабоченными. Все молча спешили, широкие витрины

магазинов были снаружи заставлены мешками с песком, в небе висели аэростаты с проволочными заградительными сетками, на некоторых углах улиц стояли металлические противотанковые ежи и пулеметные гнезда. Кое-где виднелись разрушенные бомбардировками дома. Красная площадь и Кремлевская стена были замаскированы нарисованными низкими строениями...

В магазинах стояли огромные очереди и ждали, что привезут какие-либо продукты, и мы с Саней сразу поняли, как тщетны наши надежды наполнить авоськи. Тогда мы возвратились на Павелецкий вокзал, чтобы вернуться в Домодедово, к нашему эшелону. По расписанию до ближайшей электрички осталось у нас полчаса. Было обеденное время, мы проголодались, а за полчаса можно было успеть перекусить. В ресторане вокзала было битком набито пассажиров — не протолкнуться, и я уже совсем потерял надежду что-то поесть, как мой попутчик Саня вдруг исчез в толчее. Не прошло и пяти минут, как он возвратился с двумя порциями горячих сосисок и тушеной капусты. В этот момент Саня с тарелками предстал передо мной как чудесный факир. На мой изумленный взгляд Саня ответил победоносной улыбкой: «Надо уметь...» Стоя, — сидеть было негде, мы в мгновение ока проглотили аппетитные сосиски и, разочарованные, посмотрели один на другого с одной и той же мыслью: если бы можно было проглотить еще несколько таких порций. Но в тот же момент объявили по радио, что сегодня с Павелецкого вокзала электричек больше не будет...

Мы с Саней остановились ошеломленные, забыв не только о сосисках, но и собственные имена. Вот тебе ситуация! Мы выбежали на перрон. Что здесь творилось! Люди, как затравленные мыши, сновали туда-сюда. К поездам подъезжали грузовые машины, откуда в окна и двери вагонов в спешке бросали пакеты и домашние вещи. Это москвичи отправлялись в эвакуацию. Электрички стояли осиротевшие, без локомотивов. Видя, что другого выхода нет, я предложил пуститься в путь пешком. Саня

возмутился: «Как это? Тридцать пять верст пешком? Наш эшелон за это время десять раз отправится со своей стоянки». Но когда я ему дал понять, что он может поступать, как хочет, а я в любом случае пойду, Саня замолчал, и, недовольный, с опущенной головой, словно я его обидел, отправился за мной.

Шагали мы по шпалам вместе с многочисленной толпой московских рабочих, живших за городом. Небо прояснилось, показалось осеннее солнце. Скорой ходьбой мы так разгорячились, что пришлось снять пиджаки. Саня, не переставая, хныкал. Хотя меня не меньше огорчала мысль, что мы, наверное, не застанем на месте наш эшелон, я это не показывал, и несколько раз отругал своего попутчика за его малодушие. Мы уже прошли половину пути. Надвинулась темнота. Саня совсем упал духом и со слезами на глазах просил меня свернуть в сторону, к домам, что недалеко от дороги, там переждать ночь, а наутро снова двинуться в путь. Я был непреклонен. Больше всего меня беспокоила оставшаяся в вагоне мама. Я ясно представлял себе, что с ней происходит в эти часы...

С наступлением ночи до нас стал часто доноситься так хорошо знакомый, ледящий кровь звук вражеских самолетов, несущих свой смертоносный груз к столице. С содроганием мы прислушивались к взрывам авиабомб, к частой канонаде зениток и видели, как в небе шныряли ослепительные лучи прожекторов, ищущих врага. Начался настоящий ад. Мы теперь с Саней остались вдвоем и, шагая по бесконечным шпалам, полностью потеряли счет времени и расстояния, которое мы преодолели. Когда уже казалось, что дорога никогда не кончится, перед нами возникли темные контуры станции Домодедово, и донеслись голоса людей. Эшелон стоял на месте. Наше появление в вагоне среди ночи было воспринято, как второе пришествие...

Рано утром мы пробудились, в то время как наш эшелон со стоном и скрипом буферов тронулся с места, и мы узнали, что мы едем другой дорогой — через Москву нас не пустили.

После нескольких часов езды из Домодедово путаным маршрутом, мы уже приближались к Горькому<sup>1</sup>, где наш эшелон должен был разгрузиться, но к городу на Волге нам не суждено было доехать из-за интенсивных бомбардировок. По мановению невидимой руки, все время сопровождавшей нас во время нашего путешествия, эшелон был вынужден повернуть на 180 градусов и через пол-России, через холодный Урал и заснеженные Оренбургские степи отправиться в Среднюю Азию. Подробное описание долгого, изнуряющего маршрута нашего путешествия заняло бы слишком много времени. Наш путь лежал через десятки городов и станций, больших и малых, забитых эшелонами и платформами, загаженными человеческими нечистотами, с несчастными, потерявшими свой очаг, свои семьи, своих близких. Страшнее было всего смотреть на бледные личики голодных ребятишек, беспомощных стариков, еле державшихся на ногах. Это был ступок человеческих страданий, которые могло сотворить лишь такое зло как война.

На некоторых станциях наш эшелон стоял целыми сутками, пропуская многочисленные эшелоны с танками, орудиями и войсками, устремившиеся на запад, где полыхали ожесточенные бои. Я видел парней в солдатской форме, людей моего поколения, и меня охватывало чувство боли: такие здоровые, молодые, красивые, еще не успевшие пожить, и вот — несут их составы на поле боя, и судьбы многих из них уже предопределены. Сколько моих товарищей и друзей сложили головы в окопах. Конечно, я должен был быть среди них и разделить их участь... Но так распорядилось время: меня — молодого, здорового — записали в запас третьей категории, потому что я — сын «врага народа», который уже затем, покойником, был реабилитирован как невинный.

Чем дальше мы двигались на восток, тем больше мы чувствовали гнет голода. Все скудные продовольственные запасы, взятые из дома, истощились, и всех обитателей нашего пульмана охватила

<sup>1</sup> Ныне Нижний Новгород. — *Прим. ред.*

одна страсть — охота за едой. Все чаще разговоры между соседями по нарам вертелись вокруг еды. Одни следили с завистью за тем, что едят другие, десятки раз переспрашивая, где они добыли пищу. На станциях, где мы останавливались, молодежь шныряла с мешочками в руках между местными жителями и меняла куски мыла, табак, соль и свою одежду на кусочек хлеба, на несколько картофелин; за деньги ничего нельзя было достать.

В некоторых случаях нам везло. Я не помню, на какой станции, кажется в Саранске, я забрал у всех эвакуационные свидетельства и организовал марш в город за хлебом. Ничего не добившись в магазинах, где хлеб выдавали населению по хлебным карточкам, мы отправились на местный хлебный завод — может там нам повезет. Не без трудностей мы попали к директору, выслушавшему нас сочувственно и отведшему нас в пекарный цех. От набитых полок со свежеспеченным хлебом, от аппетитного запаха у нас разбежались глаза и закружилась голова, мы наполнили три мешка хлебом из расчета фунт хлеба на день на каждого в нашем вагоне на три дня. Это была необыкновенная удача, о которой мы даже не мечтали. Кроме того, рабочие нам насовали в карманы и за пазуху большие куски забракованных калачей. Участников хлебной экспедиции наш вагон встретил как триумфаторов. До поздней ночи праздновали: пели, шутили... Но такие праздники выпадали редко. Большие страдания нам причинял холод. Несмотря на то, что наша железная печурка с жестяными трубами была весь день раскалена (уголь мы воровали с проезжающих мимо железнодорожных платформ), уральские морозы выхолодили наш вагон и покрыли стены льдом. Почти все кашляли, многие болели. Поэтому, когда мы стали приближаться к Ташкенту и лед на стенах исчез, все себя почувствовали так, будто попали в рай.

Солнечный Ташкент был буквально набит эвакуированными.

Экзотический базар гудел, как улей. Голодные, оборванные люди, взрослые и дети, толпились возле столов с фруктами и едой и, глотая слюни, высматривали как бы что-нибудь стащить



у продавцов-узбеков. Наблюдая это все, я не без иронии заметил про себя: вот тебе и город хлебный. Ташкент во время войны остался в моих воспоминаниях, как голодный город, город человеческих страданий. Лишь тут, в столице Азии, где мы стояли двое суток, невидимая рука сверху указала окончательный пункт нашего путешествия. Это был древний город Бухара. Для людей, потерявших свой дом, все равно, куда их забросило. Везде нужно начинать все сначала. Поэтому мы восприняли это известие достаточно безразлично. Бухара — так Бухара. Правда, единственная определенность, что наше странствование заканчивается, и мы едем в теплые края.

К городу мы приближались в полдень. Молодежь нашего вагона из закрытого пульмана перебралась на открытые платформы, где стояли машины, для того, чтобы посмотреть издали этот восточный город, о котором мы были наслышаны и начитаны еще в детстве. Глубокое голубое небо, теплое солнце в декабре, контуры Бухарской стены и башен вызвали у всех восторг. Не прошло и получаса после прибытия эшелона на станцию, как я отправился посмотреть на город. Он буквально ошеломил меня лабиринтом узких кривых улочек с глиняными кибитками и заборами; узбеками в разноцветных халатах и тюбетейках, едущих верхом на своих осликах и верблюдах; симпатичными чернявыми узбекскими девушками с их бесчисленными косичками; женщинами в парандже, словно в темных мешках; чайханами на каждом шагу; голубыми куполами в центре города, высокими круглыми башнями, воротами медресе, украшенными мозаикой. Это все выглядело, как сказка из «Тысячи и одной ночи», превзошедшая все мои представления о средневековом Востоке. Тяжелое впечатление на меня произвели многочисленные польские и румынские евреи — первые беженцы от немецких варваров. Они бродили по городу бездомные, голодные, потерянные. Невольно мне думалось, что, может быть, между ними находятся и мои родные из Лодзи, которым посчастливилось спасти свою жизнь.

На другой день после прибытия в Бухару мы приступили к выгрузке станков из вагонов. Мы, эвакуированные, кто еще был трудоспособен, с утра до ночи помогали перегружать заводское оборудование на грузовики, автомашины и перевозить его на хлопковый завод, где решено было разместить Харьковский завод. Прошло две недели, а мы еще жили в нашем пульмане, затем нас перевели в один из клубов, где в большом помещении, прямо на голом полу, устроилось все население нашего вагона. К этому времени приехал с последним заводским эшелоном мой брат, оставивший Харьков одним из последних. Он ехал, как барин, в пассажирском вагоне с начальством. Я же начинал подумывать об отъезде во Фрунзе, куда эвакуировался наш институт. Но так как я был зачислен рабочим на завод, директор ни в коем случае не хотел меня отпускать — каждая пара рук при восстановлении завода была на вес золота. Таким образом, я остался в Бухаре и из студента-медика превратился в рабочего-электрика. Почему электрика? Очень просто. Нехватка рабочих была настолько велика, что никого мой опыт в этой должности не волновал, лишь бы был я согласен работать. Специальность электрика была мне ближе, так как я со школьной скамьи интересовался электричеством, мастерил разные приспособления и установки, что-то вроде хобби, как это теперь называется. Работал я тяжело: с раннего утра до поздней ночи по 12—14 часов в сырых холодных траншеях, где вместе со своим напарником, раненным на фронте парнем, прокладывал электрокабели.

Целый день мы вдыхали в себя гарь паяльной лампы, удушающие пары плавящегося свинца. От холода и сырости, от недостатка пищи руки у меня опухли и приобрели синеватую окраску. В глиняной комнате, выделенной мне с братом и матерью, было холодно, не было чем топить, освещала наше жилище лампадка в жестяной коробочке с хлопковым маслом, постели лежали на досках, положенных на кирпичи, и после дня тяжелой работы невозможно было выровнять и согреть свое тело.

Вдобавок ко всему, мы постоянно были голодны. Пайка́, которого мы получали, худого завтрака в столовой еле хватало, чтобы не свалиться с ног. Мать героически переносила голод, и, хотя она ходила на опухших ногах, хлеб, получаемый по карточкам, незаметно почти целиком отдавала мне с братом. Нередко мы добавляли к нашему рациону макуху из зерен хлопка, от которой нам выкручивало кишки и пекло сердце. Сколько я ни ел, наесться досыта я не мог. Я вспоминаю эпизод, когда кассирша заводской столовой, знакомая девушка еще с Харькова, однажды вечером после работы «устроила» мне около десяти порций макарон. Я справился с ними в один момент, правда, порции были скудными, без всяких жиров, но я был доволен — счастливейший день для меня выдался. Когда я пришел домой после такой удачи, мама, как всегда, поставила передо мной мой ужин — тарелку затирухи из черной муки и порядочный кусок хлеба. Я все это сразу проглотил, словно у меня давно во рту ничего не было, при этом я постеснялся рассказать матери, что за полчаса перед этим слопал десять порций макарон. Теперь я думаю об этом как о диковинке...

Однажды мой брат нашел на улице четыре хлебные карточки — это был целый клад. Моя первая реакция была найти пострадавшего и вернуть карточки, но фамилии на карточке не было, иди, ищи ветра в поле. К этому времени нам удалось установить после долгого перерыва связь с отцом. Из его письма мы узнали, что здоровье его очень подорвано, несомненно от голода, и мало вероятно, что мы когда-нибудь увидимся. Мы решили, что из хлеба от найденных карточек мы будем сушить сухари и посылать отцу. Так мы и сделали, но как потом выяснилось, ни одна посылка до него не дошла, и отец просто доходил от голода.

Меня очень нервировало, что я оторван от института, что столько сил и труда потрачено напрасно. Директору завода было не до моих переживаний, и он не хотел даже слышать о том,

чтобы меня отпустить в институт. Но, как гласит русская поговорка: не было счастья, да несчастье помогло.

В начале апреля 1942 года меня вызвали в военный комиссариат и объявили, что я мобилизован в армию. Моя мать и брат оплакивали меня дома. Я к этому делу отнесся иначе: во мне пробудилось чувство гордости — это значит, что мне уже доверяют и я больше не человек третьего сорта, я хочу служить и разделить участь с миллионами моего поколения, с моими друзьями и товарищами, которые находятся в окопах и воюют с фашистами. О смерти я тогда даже не думал.

И вот я, постриженный, снова лежу в пульмане, вместе с еще полусотней мобилизованных, под головой мой рюкзак, а в голове мешанина мыслей. На ближайшей сортировочной станции Каган, что в 12-ти километрах от Бухары, наш эшелон остановился, чтобы принять большое число мобилизованных из окружающих районов. День был красивый, весенний, и я вышел из вагона просто так, на свежий воздух. Проходя через перрон, я обратил внимание на кружок людей. Когда я подошел ближе, мне открылась печальная картина: на голом асфальте лежал смертельно больной мужчина с закрытыми глазами, над которым возились несколько человек. Один брызгал на него воду, второй щупал пульс, третий ставил диагноз: голод. Вглядевшись в безжизненное лицо, я узнал в несчастном моего знакомого, Юзефовича. У меня захватило дыхание. Не раздумывая, я вскочил в свой вагон, выхватил из рюкзака кусок узбекской хлебной лепешки и побежал к моему знакомому. Когда Юзефович открыл глаза, он долго смотрел на меня, не в состоянии понять, что происходит вокруг него, и как я сюда попал. В этот самый момент донесся гудок локомотива, и народ на перроне бросился к вагонам. И вот мы вместе с Юзефовичем сидим на нарах в соседнем пульмане и рассказываем друг другу о себе.

С Юзефовичом я познакомился осенью 1939 года в Харькове. Он был одним из многих тысяч евреев, бежавших из своей

родины, когда гитлеровские орды наступали на Польшу. Лодзинский ткач, еще молодой человек, он приехал в Харьков с женой и ребенком, где жил его старший брат, работавший вместе с моим отцом на ткацкой фабрике «Красная нить». Братья не виделись больше десяти лет и, к большому несчастью, им не суждено было встретиться. В 1937 году старшего Юзефовича засадили, как других польских евреев, а его жену с ребенком выдворили из квартиры и заселили в разрушенную комнатенку. Вот в таком положении младший брат застал свояченицу. Излишне рассказывать, какое впечатление это все на него произвело. Он сам незадолго перед войной вышел из польской тюрьмы, где он сидел за свою активную коммунистическую деятельность в капиталистической стране.

Мою мать Юзефович-беженец знал еще с Лодзи, и он пришел к нам в дом увидеться с ней. Тут мы и познакомились. Он мне много интересного рассказал о моей Родине и оказался довольно интересным человеком, но ему не повезло и, как многие из его сородичей, он был заброшен в Сибирь, а оттуда в Среднюю Азию, в колхоз недалеко от Бухары. Оттуда его мобилизовали, как и меня, и вот мы с ним встретились. Долго мы с ним беседовали в накуренном вагоне. Лишь в Самарканде, где поезд впервые остановился после Кагана, я перебрался в свой вагон. Ночью я не мог заснуть. Я все еще был под впечатлением этой печальной встречи.

Кроме того, в середине вагона, собралась теплая компания и при свечке рубилась в карты. И это еще не все. Перед нашим отъездом из Бухары нас, новобранцев, накормили в столовой военного комиссариата бараниной, и мне удалось добыть лишнюю порцию. После этого я выпил, может быть, полведра сырой воды... Большого не требовалось. Лежать на нарах было невозможно. В животе разыгралась настоящая революция, а наш эшелон, как назло, как воинский, мчался без остановок, кроме больших узловых станций. Спазмы в животе сводили все мои внутренности, и я готов был лезть на стену. Не имея другого выхода, я вынужден

был опустить штаны, и, будет мне простительно, как каскадер, держась обеими руками за поперечную балку на дверях, вися наполовину снаружи, на самой большой скорости начал «свистеть» через всю Среднюю Азию. Теперь я это вспоминаю с улыбкой, тогда же мне было не до смеха. Двое суток я лежал, прикованный к своей полке, с судорогами в животе. За это время наш эшелон проехал теплый Узбекистан и Северный Казахстан, где еще властвовала зима. Пару раз ко мне приходил Юзефович, принесший мне в котелке чай и пару таблеток белладонны.

Постепенно я пришел в себя и впервые начал ближе присматриваться к обществу, с которым мне пришлось ехать вместе. Это были в своем большинстве узбекские, польские, румынские, бухарские евреи. Многие узбеки выделялись своим уголовным видом: их манера, словечки, их татуировки не вызывали сомнения и, действительно, как выяснилось, это были люди с темным прошлым, отсидевшие в тюрьмах за убийства, кражи и тяжкие преступления. Эти типы днем и ночью резались в карты и чувствовали себя в вагоне хозяевами. Бухарские евреи имели свой уголок в пульмане и ни с кем, кроме своего кружка, не общались. Польские и румынские евреи также обособились, вели себя, к удивлению, спокойно, скромно, видно ими владел страх перед картежниками, от которых можно было всего ожидать.

Мне было нетрудно догадаться, почему меня посадили в эту компанию. Анкета в личном деле военного комиссариата не могла преподнести что-либо другое: сын врага народа, рожденный в Германии — что еще нужно? И когда в пути объявили, что мы едем не на фронт, а зачислены в трудовую армию, никто из нас не удивился. Я сам так уже привык к мысли, что я человек третьего сорта, что это сообщение в первый момент воспринял с олимпийским спокойствием. Но ночью, когда я был не в состоянии заснуть из-за болей в животе, у меня снова болела душа из-за того, что я так легко выброшен из нормальной жизни.

Я не помню, на которые сутки мы оставили вагоны и сошли на уральской станции Кропачево, что недалеко от города Златоуста, но в памяти сохранилась картина, как мы, толкая друг друга в тесном станционном здании, прятались от мокрого снега и наружного пронизывающего холода.

Вечером нас отвели на приготовленные для нас квартиры, и снова — доски, нары. Люди из нашего вагона, около 30 душ, заняли две тесных комнаты в полукрестьянском доме. Юзефовичу удалось перевестись в мою компанию, и мы устроились на втором ярусе возле самого суфита, где сидеть было невозможно, лишь лежать, вытянувшись. Так уж получилось, что «узбеки» отделились от «русских» в меньшую комнату, а мы, «русские», 35 человек, остались на втором ярусе в большей комнате. Постелей не было, и мы довольствовались нашими одеждами вместо подушек на голых досках. Запах давно немытых тел, смешанный с махорочным дымом, стоял в горле до удушения. Утром рано нас построили и повели в столовую, где мы наскоро позавтракали прославленной в военные годы «затирухой». Затем по команде командира, вернее прораба, вооруженные лопатами и ломami, мы отправились на работу.

Весна на Урале запоздала, и на дворе всё сыпал мокрый снег. Раздетые, без пальто, в легких туфлях, мы шагали по болотному полю, версты 3—4, и остановились недалеко от маленькой деревушки в десять избушек. Прораб, в славном полушубке и высоких сапогах, поставил нашу братву в длинную шеренгу и велел копать глубокий ров для нового водопровода, который нужно было провести к железнодорожной станции. Мы дружно приступили к работе, желая согреться от сырого пронизывающего холода. Земля еще была замерзшей, и наши лопаты натыкались на лед. Пару часов промучились без всякого толка, и, как только прораб куда-то исчез, мы оставили наш участок и пошли в деревушку погреться. Крестьяне нас охотно звали к себе в хаты, особенно узбеков, которые страшно страдали от холода, и с жалостью угощали горячей картошкой,

щами прямо из горшка. Вот так и покатались наши дни в рабочем батальоне; трудные, холодные дни, один похож на другой без всякого просвета. Почти половина людей из нашего отряда лежали простуженные на нарах. Здоровый от природы, не разбалованный дома, я держался дольше других. Кроме того, во мне сидело внутреннее упрямое чувство, что я должен перенести все трудности — не вечно же будет длиться война, не вечно я буду третьесортным, и что я должен все это пережить.

В конце апреля, накануне 1 мая, часть нашей команды, в том числе меня и Юзефовича, отвели во двор местной пекарни прибраться к празднику территорию. Мы обрадовались возможности отдохнуть немного от лопат и кирок. У каждого теплилась надежда на лишний кусок хлеба в пекарне. Мы буквально вылизали двор со всеми пристройками, не исключая уборную. Но никто нам хлеба не преподнес, и мы, разочарованные, уже готовились оставить наш рай, когда один из нас, совсем юный паренек, почти мальчик, оглянувшись по сторонам, вдруг отделился от нас, подошел к зданию пекарни и, в мгновение ока, как кошка, прыгнул в полуоткрытое окно, через которое виднелись сложенные штабелем только что испеченные буханки. Не раздумывая, без слов, мы все, оставшиеся во дворе, пустились за смелым пареньком и остановились у окна с горящими глазами. Мы не осмелились проникнуть в пекарню. Наш паренек быстро-быстро начал нам передавать одну буханку за другой, и мы с сердцебиением прятали краденное, кто в брюки, кто за пазуху. В казарме мы закрыли двери на засов и тихонько, как заговорщики, разделили ворованный хлеб.

В один из дней отдыха в середине мая к нам приехала комиссия из Минидорского районного военного комиссариата во главе с шефом. Ее приезд был вызван многочисленными жалобами нашей команды, поступавшими в различные инстанции. Жаловались в основном больные, между ними были такие, что едва держались на ногах. Комиссия, в составе которой было несколько



врачей, устроилась в местном клубе. Туда потянулся поток больных и мнимо больных — симулянтов — из бывших уголовников.

Я лежал на нарах и беседовал с Юзефовичем и двумя артистами из Варшавского еврейского театра, с которыми я подружился, когда с радостным шумом возвратились из комиссии несколько больных с известием, что они освобождены от службы. Вдруг ко мне обратился один из артистов, почему бы мне не пройти комиссию. Я воспринял это как шутку и, смеясь, ответил, что я ведь не артист и что симуляция не мое амплуа. Тогда вмешался второй артист, а также Юзефович, и начали меня уговаривать, чтобы я написал заявление, что я студент 3-го курса медицинского института и что я хочу закончить свое образование. Сначала я и слушать их не хотел, но постепенно я поддался их уговорам, хотя и без особого энтузиазма. Мой внешний вид ничего общего не имел с будущим медиком: постриженный, как овца, с заросшим лицом, одетый в рабочую спецовку еще с завода в Бухаре, в порванных ботинках — вот таким был мой портрет. Но моих новых друзей это не огорчало — они все вместе взялись сделать из меня человека. Прежде всего, я должен был побриться, вместо спецовки они смастерили из своих лучших одежд костюм, завязали на моей шее галстук, на голову надели мягкую фетровую шляпу — и все! Исчез землекоп, как меня величали в списке прораба. Глядя на себя в зеркальце, я сам себя не узнал. Оттуда на меня смотрел человек, которого я где-то когда-то видел...

И вот, в таком виде, как жених на свадьбу, я отправился в сопровождении моих друзей в клуб, где работала комиссия. Было это уже в конце дня, и в то время, как мы подошли к клубу, небольшому деревянному строению, мы увидели, как оттуда выходит комиссия. Опоздали. Я вспоминаю, что досады это у меня не вызвало: наоборот, у меня камень с сердца свалился от сознания, что мне не придется иметь дело (все равно напрасно) с чиновниками. Но поскольку мы уже все равно находились возле клуба, мы туда зашли просто так — посмотреть, что там делается. Двери

одного из кабинетов были широко открыты. В дверях — военный с накинутой на плечи шинелью, видно, он задержался и отстал от других, оставивших только что клуб. Мои спутники буквально подтолкнули меня к дверям и я, онемевший и растерянный, предстал перед высоким офицером.

— Что вам нужно? — спросил он у меня.

— Я... я... — промямлил я. — Вот мое заявление, — и я ему подал листок бумаги, — тут все написано.

Офицер (как потом выяснилось, военком) немножко нетерпеливо меня переспросил:

— Что вы хотите?..

Я понял, что много говорить здесь не придется, и выпалил всего несколько слов:

— Я студент последнего курса Харьковского медицинского института и никак не могу понять, каким образом меня сюда привезли...

Офицер застегнул шинель и надел фуражку:

— Есть ли у вас документ, что вы студент последнего курса?

Вместо ответа я подал академическую зачетную книжку, где был штамп, подтвержденный печатью, что я сдал все экзамены за второй курс и перешел на третий (зачетка эта до сих пор у меня сохранилась).

Военком пролистал книжку с моими отличными оценками, задержался на последней странице, забрал из моих рук подготовленное заявление, наскоро, стоя, не прочитав даже написанное, наложил резолюцию на уголке моей бумаги и быстро вышел из комнаты. Я стоял ошеломленный.

Мои друзья, через открытые двери наблюдавшие эту сцену, бросились ко мне, взяли из моих рук подписанное заявление и все трое в один голос закричали:

— Освобожден!!! Что ты стоишь как истукан? Пляши!

Лишь теперь я пришел в себя и начал понимать, что в моей жизни только что произошло важное событие. На заявлении рукой

военкома было черным по белому написано: «Освободить как студента последнего курса медицинского института для окончания учебы».

## Фрунзе

Долго собираться не пришлось. Весь мой багаж состоял из торбы с ломтем хлеба и нескольких сваренных в мундире картофелин, за которые я отдал пачку махорки. Мои друзья тепло проводили меня к поезду и передали письма своим близким в Бухаре. Когда знаменитый «пятьсот веселый» тронулся, я через окно вагона увидел, как Юзефович оттер слезу.

Что собой представлял «пятьсот веселый» трудно передать. Переполненный, словно мешок, людьми всех сословий: крестьянами, инвалидами, женщинами с кричащими детьми, спекулянтами, мешочниками. Люди почти лежали друг на друге, на полках, под полками, в тамбурах. Грязь, вши, запах невымытых тел, смешанный с махорочным дымом и вонью гниющих портянок...

Теперь, когда мне приходится ездить в роскошных чистых купейных вагонах с кондиционерами, в моей памяти всегда всплывает «пятьсот веселый»...

Вместе со мной ехали один бухарский еврей и двое больных узбеков, освобожденные комиссией. Я не помню, как долго мы ехали: «веселый» останавливался у каждого телеграфного столба, и, казалось, это будет длиться бесконечно. Моя провизия скоро закончилась. На одной из станций я поменял свою последнюю верхнюю рубашку на полбуханки хлеба. Мои спутники страдали от голода не меньше меня. Но есть еще бог на небе. В этом я уже не раз убеждался. Когда наш поезд утром остановился на станции Кинель, что недалеко от Куйбышева<sup>1</sup>, я отправился со своим жестяным котелком и мешком, с которым я не расставался почти

<sup>1</sup> Ныне Самара. — *Прим. ред.*

все военные годы, искать счастья, то есть немного еды. Однако все киоски на перроне были пусты. Я решил пройти в вокзальный ресторан, может, там повезет. За столами сидели более пристойные пассажиры, и мой вид им очевидно не импонировал. Все места были заняты, лишь за одним столиком в самом углу, за которым завтракал офицер в красной фуражке военного коменданта, был свободный стул. Я спросил разрешения сесть рядом и, когда офицер поднял на меня глаза, я от неожиданности вскрикнул: «Изя!» Военный долго и удивленно на меня смотрел, и я уже подумал, что ошибся, когда офицер поднялся с места с широко открытыми глазами и назвал мое имя. Пассажиры за соседними столиками с интересом наблюдали встречу офицера с бродягой.

Изя Левит был моим школьным товарищем. Мы с ним учились в одном классе в Харьковской 45-й школе и вот, на тебе — такая встреча через годы. И где? Где-то на далекой станции. Изя не гнушался моим видом; он меня по-братски обнял и повел в свой кабинет на вокзале, где служил военным комендантом. Здесь мы друг другу рассказали о себе, вспомнили школьные годы, учителей, товарищей. Само собой разумеется, что он меня основательно накормил и обеспечил не только меня, но и моих спутников хлебом и другими продуктами на дорогу. Более того, Изя устроил нам баню, а вечером усадил нас в вагон-купе скорого поезда «Москва — Ташкент». После войны мы с Левитом встретились случайно в Харькове на площади Тевелева. Мы зашли в ближайший ресторан, где за бутылкой вина вспомнили прошлое.

В Бухару я прибыл в конце мая, когда уже изрядно припекало. После уральской холодной серой весны я с удовольствием подставил лицо бухарскому солнцу и вглядывался в экзотический пейзаж чудесных куполов и башен, кривых шумных улочек. С сильным сердцебиением я подошел к нашей кибитке. Двери открыла мне мать, которая от неожиданности онемела и смотрела на меня, словно я явился ей во сне.

Долго задерживаться в Бухаре не входило в мои планы. Теперь, став вольной птицей, я стремился поскорее добраться до института во Фрунзе. Но как оказалось, это было не просто. Чтобы купить билет, надо было получить разрешение милиции — пропуск. Добиться пропуска было делом нелегким — надо было иметь вызов из учреждения, куда ты собирался ехать, а мое свидетельство, что я работал землекопом на станции Кропачево и был освобожден, чтобы закончить институт, никого в милиции не убедило. Только вызов — и всё! Потянулись изматывающие дни ожидания ответа на мою телеграмму во Фрунзе, в которой я просил срочно выслать мне вызов.

Но ректор, должно быть, не знал, как я надеюсь на вызов, и... не спешил. Так же и почта в военные годы не отличалась оперативностью. Мое приподнятое настроение остыло, и я начал нервничать. Не дождавшись ответа и не находя себе места от безделья, я в одно прекрасное утро попрощался с мамой и братом и подался в Каган — станцию недалеко от Бухары, через которую проходили поезда в Ташкент. В билетной кассе, точно как я ожидал, мне отказали, и мое положение стало отчаянным. Что делать? И снова меня услышал Господь. На станции остановился большой эшелон, в основном с пассажирскими вагонами, битком набитыми эвакуированными женщинами и детьми из блокадного Ленинграда. Я завел разговор на перроне с девушкой, ехавшей этим эшелонем, и в нескольких словах рассказал о своем положении и попросил как-нибудь устроить меня в вагоне. Она исчезла, но скоро вернулась, и сказала мне, что переговорила со старшим, что в вагоне негде даже иголке упасть, разве, что в тамбуре. Я был готов ехать не только в тамбуре, но и на крыше. Поэтому, когда поезд тронулся с места и я остался в тамбуре вагона вместе с другими пассажирами, так или иначе приставшими к эшелону, я почувствовал себя счастливым.

Места в тамбуре, где можно было бы ночью лечь и прикорнуть, не было, и я устроился в «топке», где отапливают зимой вагон.

Лежать или сидеть там было негде, так я целую ночь и простоял в моем «купе» на ногах, так и задремал. Утром эшелон остановился за Ташкентом, где стоял пассажирский поезд «Джалалабад — Фрунзе». Недолго думая, я побежал к кассе, и случилось чудо: кассир мне продал билет по моему свидетельству в мягком вагоне (других билетов не было). После ночи в «топке», грязный от угля, я не отличался от профессионального трубочиста, и изысканные пассажиры мягкого вагона от меня шарахались, как от привидения... Но я на это излишне не реагировал: с билетом в руке я чувствовал себя человеком. Не обращая ни на кого внимания, я взобрался на свое место на вторую полку и, не успев положить голову, заснул мертвым сном.

Проснулся я во Фрунзе.

В институте меня встретили очень тепло. Студенты, эвакуированные с институтом, окружили меня вниманием и помогли устроиться в общежитии и адаптироваться к новым условиям. Я потерял целый академический год, но я был доволен, что наконец-то я в своем институте и буду продолжать учебу. И снова потекли дни учебы, дни студенческой жизни. Это были три трудных военных года, годы борьбы за существование, годы нужды и бедствия.

Часть наших студентов, которые жили вместе с зажиточными родителями, чувствовали себя неплохо. Другая часть студентов занялась торговлей. Вместо лекций они, можно сказать, целыми днями пропадали на базаре, выискивая заработок и, надо сказать, небезуспешно. Третьи, не затрудняя свою жизнь, «влюблялись» в женщин, кормивших и пригревавших их. Мне же, выросшему в семье рабочих, где единственным источником средств к существованию был тяжелый честный труд, «торговцы» казались странными, а «любовники» — просто дикарями.

Я оставался в «третьем сословии»: жил на скудную стипендию, разгружал время от времени на железнодорожной станции вагоны вместе с другими студентами, нередко сдавал кровь, как

донор, чтобы получить более высокую норму хлеба и прибавку к продовольственному пайку. Но всего этого было недостаточно, чтобы утолить голод здорового молодого человека. Не раз я получал по своей карточке хлеб на несколько дней вперед и съедал его сразу всухомятку, а потом целую неделю ходил голодный. Иногда случалось, что меня приглашали к кому-либо из более зажиточных студентов на день рождения или на другой праздник, где я впихивал в себя астрономическое количество пищи, так что я еле вставал из-за стола. Наутро следующего дня я уже снова был голоден, и все мои мысли, как в общежитии, так и на улице и в учебной аудитории, были заняты едой. Сколько раз, зимой, ложась голодным спать, в холодном, нетопленном общежитии, где не было ни электричества, ни лампы, где вода была замерзшая, я накрывался одеялом с головой и вызывал в мыслях целые натюрморты с различной вкусной едой — аж язык прилипал к гортани...

В такие моменты я думал про себя: доживу ли я до такого времени, когда на столе будет лежать хлеб, и я не захочу есть? Это был настоящий психоз. Признаюсь: очень тяжело я переносил голод, слишком слабодушен был в этом отношении. Стыдно рассказывать, но я помню случай, когда я ушел с урока практики в клинике и вынес под пальто на черный рынок казенный медицинский халат, который я поменял на ломоть хлеба. Это было воровство.

Не я один был во власти голодного психоза. Мне вспоминается один случай. Ежедневно из своей группы мы выделяли дежурного студента, отдавали ему талоны на обед и перед последней лекцией посылали его в столовую накрывать стол, чтобы остальные не стояли в очереди. Был в нашей группе студент Петя Арш — славный парень, умный, способный, еле-еле держался от голода на своих длинных ногах. Когда настало дежурство Пети, мы его, как водится, отправили с талонами в столовую. После лекции наша группа из пятнадцати голодных студентов ринулась на обед. Но что это? Тарелки на столе пусты, а Петя куда-то исчез. Мы

выскочили во двор и застали Петю в тот момент, когда он впихивал себе в рот последнюю порцию ливерной колбасы. Наше первое желание было всыпать ему, как он того заслуживал, но Петя стоял перед нами такой потерянный, с таким выражением лица: «Ну, убейте меня, убейте!», что у нас рука не поднялась.

Летом во время каникул нас послали работать в колхоз: с утра до ночи подавать вилами тяжелые снопы пшеницы под знойным солнцем в густой пыли — это была дьявольская работа, в особенности для городских людей, не привычных к этому. Из степи домой мы еле добирались. Правда, нас кормили, и мы на время забыли о голоде. Это нас устраивало. После того, как был убран урожай, нашу бригаду перебросили месить саман (большие кирпичи глины с соломой) для скотоводческой фермы. Полуголые, черные от солнца, словно негры, вместе со слепой лошастью мы ногами месили глину в огромной яме, выдавали ее на-гора, и там сверху наши ребята сбрасывали ее в форму и отвозили штабелями сушить. Каждый из этих кирпичей весил около пуда, и каждая форма вмещала в себе одновременно глину для трех кирпичей. Ночевали мы в шалашах, которые мы сами соорудили из веток и камышей. Ночью лежали усталые в темноте на соломенных постелях и нередко до поздней ночи пели, рассказывали анекдоты, шутили, а на рассвете, когда солнце всходило из-за снежного, удивительного красивого Тянь-Шанского хребта и зажигало небосвод многоцветными красками, мы уже были на ногах.

Немало супружеских пар родилось в студенческих шалашах. Их детей мы нарекли «колхозными». При любых обстоятельствах, как бы там ни было, остается место для комичного. Описывая нашу колхозную жизнь, я до сегодняшнего дня не могу без смеха вспомнить о последней ночи, которую мы провели в нашем просторном шалаше перед отъездом в город.

Весь день небо было покрыто тучами, и в нашей бригаде возник спор: кто-то предсказывал, что завтра при нашем отъезде будет дождь, а кто-то категорически отрицал такой прогноз. Дошло



дело до того, что противники заключили между собой пари. На крыше нашего шалаша новая колхозная парочка устроила себе постель и там справляла медовый месяц. Это событие дало пищу для перчёных хохм, но это пара так была занята своей любовью, что никакого внимания на это не обращала. В последнюю ночь перед отъездом в институт после импровизированного прощального вечера с песнями под гитару и танцами, с фруктами и арбузами, когда наш студенческий табор заснул, мы внезапно проснулись среди ночи от торжествующих криков: «Дождь! Дождь!» Это кричали те, которые вчера ставили на дождь. И, действительно, в шалаше на наши головы закапал дождь. Мы вышли посмотреть, что делалось на дворе и остановились ошеломленные — звездное небо, ясная луна, ни одного облачка... Лишь тогда мы сообразили, что на крыше нашего шалаша спит молодая парочка — должно быть вчерашние арбузы дали о себе знать... До утра не прекращался хохот...

Я уже описывал, в каких ужасных условиях мы жили в студенческом общежитии. И здесь не обходилось без смеха. Я не стану здесь рассказывать о хохмах и проделках, которые студенты устраивали друг другу, о «минировании» железных коек настоящим порохом, который взрывался, когда укладывались спать. Слишком много времени заняло бы описание необычных изобретений, которыми одни стремились превзойти других, но об одном таком случае я должен все же рассказать.

Наша комната в общежитии скорее смахивала на казарму. В ней было свыше тридцати коек — металлических и деревянных топчанов. В середине — длинный стол, на котором было постоянно набросано все, что угодно: от старых порванных носков до человеческой ноги, пропитанной формалином, принесенной студентами из «анатомки» во время подготовки к экзаменам... Уборщицы в общежитии не было, и обитатели сами кое-как подметали импровизированным веником цементный пол. Так что порядок, царивший там, легко можно себе представить.

Само собой разумеется, что гостей, имеется в виду клопов и мышей, нам не нужно было приглашать. В летние ночи клопы не давали нам покоя и сна. Но был среди нас студент Бумштейн («Бумой» мы его называли), чудаковатый парень, немного увлекающийся мистикой и черной магией. Его как раз клопы не беспокоили, и он довольно хорошо спал. Однажды ребята из нашей комнаты сняли его спящего вместе с деревянной решеткой с топчана и перенесли на стол, накрыли с головой простыней, на простыню положили большой черный бумажный крест и по углам поставили четыре горящие свечи, хоть неси его на кладбище... Все проказники с нетерпением забились на свои койки. В обычное для него время пробудился Бума, чтобы сходить в туалет, и с выпученными глазами разглядывал свои «похороны». Не в состоянии со сна понять, где он находится и что с ним происходит, он начал вопить: «Караул! Караул!» Ну, а нам больше и не нужно было...

Три трудных года я провел во Фрунзе. Годы голода, годы холода, годы лишений. Поддерживала меня студенческая молодежная среда, мой здоровый организм, вера, что, в конце концов, война окончится и начнется новая счастливая жизнь. В самых неблагоприятных условиях я учился с увлечением и был среди успевающих студентов. Меня больше интересовали биологические предметы, чем клинические. Я стал посещать кроме лекций кафедру патологической физиологии, где подружился с профессором Мятником и помогал ему в его научных экспериментах.

Борис Яковлевич привязался ко мне, так как я напоминал ему единственного сына, погибшего на фронте. Частенько он мне выказывал отеческую заботу. Не раз он мне вкладывал в портфель пол-ломтя хлеба из «собачьего» пайка, получаемого кафедрой для проведения экспериментов над животными.

И вот закончилась эта страшная война. Кто пережил 9 мая 1945 года, запомнит его навечно. Писать об этом я не в состоянии,

просто невозможно передать меру счастья, которая одновременно охватила все человечество во всем мире. Об этом уже очень много написано и рассказано, чтобы я мог к этому добавить еще что-то. Мне хочется лишь в нескольких словах передать момент, когда было объявлено по радио о победе над фашизмом.

Это было ранним утром. Во Фрунзе было тогда на редкость красивое утро. Мы, студенты, вскочили на наши постели и с дикими криками начали бросать подушки в воздух. Затем полуодетые высыпали из общежития на центральную аллею города и влились в бушующее, ликующее море людей, которое образовалось мгновенно... Казалось, люди сошли с ума: незнакомые молодые и старые мужчины и женщины обнимались, целовались, танцевали и просто кричали, освобождаясь от той боли, что накопилась в них за эти длинные четыре года... Кое-где можно было увидеть плачущие лица — это были женщины, потерявшие на фронте своих мужей и сыновей.

Первым знакомым, которого встретила наша группа на улице, был наш химик, доцент Рашкован. Это был маленький человечек с детскими глазами и розовой лысиной — немолодой уже холостяк, который всегда прятал глаза, когда ему приходилось разговаривать на лекциях или экзаменах со студентками. Но зато был излишне строг к студентам и не скупился на двойки. Эта его слабость давала нашим студентам пищу для различных частушек и песенок. Как и многие профессора и научные сотрудники нашего института, не будучи в состоянии помочь себе самому в тяжелые годы войны, он ходил опустившийся, в поношенном костюме, и зачастую с жестяным котелком в руке — может что-то удастся раздобыть.

Наша разгоряченная компания в своем диком порыве подхватила на руки доцента и с криком «ура» начала его качать, словно мяч в воздухе. Испуганный и бледный, он чуть не плакал, чтобы его отпустили. Но остановиться ребята уже не могли и заставили его тут же посреди аллеи выпить вместе с ними вина и пива из

ведра, которое кто-то захватил с собой из общежития. Нашему преподавателю ничего не помогло и через несколько минут, как это обычно бывает с непьющими, он уже был «готов» и в такой степени, что начал плясать посреди улицы и торжественно клялся поставить всем «подарки»... Наш марш затянулся до поздней ночи.

Началась общая реэвакуация. Люди спешили возвратиться к своим оставленным очагам и, хотя не светила им радость в разрушенных израненных городах и местечках, они все же тосковали по родным местам. Это была, я бы сказал, биологическая тоска, как тоскует птица о своем гнезде или собака по своему логову.

В институте также началось брожение, и, если еще разрешалось уезжать студентам младших курсов, для нас, студентов старших курсов, которых посылали на практику, а затем на работу в различные районы Киргизии, на выезд был наложен запрет. Мне, вместе с моим однокурсником Марком Бороховым выпало поехать в Кадамжай, что в 35 верстах от Ферганы.

В Фергану мы приехали вечером. Отсюда мы должны были утром уехать с попутной машиной в Кадамжай. В гостинице мест не было. Тогда мы отправились в городской парк провести время и с расчетом переночевать на скамейке. В парке было шумно, весело, музыка играла — будто нет войн в мире вообще, мир на всей земле...

Мы подошли к барьеру открытой танцплощадки и стали смотреть на танцующие парочки. Неожиданно мне показалось знакомым лицо с противоположной стороны барьера. Сначала мне показалось, что я ошибаюсь, что этого не может быть... Но лицо ко мне приблизилось, и я услышал голос, который уже не вызывал сомнений. Это была Этя Лис. Она оставила посередине танца своего удивленного кавалера и бросилась меня обнимать. При этом моментально изменилась всем своим обликом: она очень за-

стеснялась. Мне самому стало неудобно от такой встречи, и мы оба без слов хорошо поняли друг друга.

Этя Лис была другом нашей семьи, одной из пострадавших польских евреев, муж которой, лодзинский ткач, в Харькове в 1937 году разделил участь со многими такими, как он сам, и который одним из первых канул как в воду. В начале войны Эте удалось со своим девятилетним сыном эвакуироваться в Фергану, где она работала ткачихой. Должно быть с годами Этя, еще полная жизни молодая красивая женщина, потеряла всякую надежду на встречу со своим мужем — жизнь требовала свое, и она, закрыв глаза, ушла от самой себя. По дороге из парка к себе домой Этя говорила об этом виноватым тоном, будто она передо мной оправдывалась; я слушал ее молча, и, будучи по натуре своей идеалистом, осуждал ее тогда... Лишь позже я понял, насколько был неправ.

Рано утром мы с Марком на открытой грузовой машине поехали через прелестную Ферганскую долину в Кадамжай. Кадамжай, центр Фрунзенского района в Киргизии, прекрасное место, где кончается Ферганская долина и начинаются горы Тянь-Шаньского хребта, прикрытые снежным покровом, который вспыхивает при солнечном закате всеми цветами радуги на фоне голубого высокого неба. Селение как бы скрыто в котловине у подножья гор. В конце дня, когда небо еще ясно, становится в селении темно, а летом, когда вся природа в Ферганской долине плавится под среднеазиатским солнцем, там так прохладно...

Мы с Марком не успели еще насладиться красотой чудесного оазиса, как на наши головы свалилась неожиданная неприятность. Выяснилось, что здесь, в райцентре, и в госпитале, и в амбулатории нет ни одного врача. Все врачи лежали больные тифом, и вместо того, чтобы проходить нашу практику под руководством специалистов, мы с Марком, два студента после 4-го курса, должны были оказывать населению всю медицинскую помощь...

Но никакого выхода нет, мы уже здесь. Госпиталь и амбулатория переполнены больными, которые стоят, как осиротевшие.

Мы закатали рукава и при помощи медицинских справочников, напустив на себя изрядную долю солидности, приступили к работе. Трудно было — это не то слово. Днем и ночью мы не выходили из госпиталя и амбулатории, при этом мы стали специалистами широкого профиля: терапевтами, хирургами, инфекционистами, дерматологами, окулистами, отоларингологами, педиатрами, и даже акушерами и патанатомами. Мы вошли в роль. Жители селенья к нам относились с большим вниманием и почтением, а местные власти платили нам зарплату, как врачам с законченным образованием. Жили и питались мы в госпитале, что дало нам возможность сэкономить несколько рублей, что потом пришлось очень кстати. За три месяца, что мы отработали в Кадамжае, я приобрел колоссальную практику и проникся пониманием того, что значит в жизни людей врач и на что способен человек, когда обстоятельства вынуждают его к этому. Я впервые испытывал моральное удовлетворение при оказании помощи людям, нуждавшимся в ней.

Возвращаясь с практики, я на несколько дней завернул в Бухару, чтобы навестить маму. Лето в Бухаре стояло ужасно жаркое. Воздух был просто раскаленный, нечем было дышать. Ночью кутались в мокрые простыни... Мне было тяжело смотреть, как мать мучается в этом горячем котле со своими вспухшими ногами, и я настаивал, чтобы она поехала со мной во Фрунзе, где климатические и материальные условия жизни были легче, чем в Бухаре. Но моя мать категорически отказалась: она не хотела оставить брата.

## Снова Харьков

На студентов последних курсов смотрели, как на законченных врачей, в которых Киргизия чувствовала большой недостаток, и все же некоторым, снабдившим себя вызовом, удалось вырваться домой.

К этому времени мой брат и мать должны были также эвакуироваться вместе с заводом из Бухары в Харьков, и я, естественно, хотел присоединиться к ним. Моя мать всё надеялась, что теперь, после войны, отец возвратится домой, и я к ней приеду, и наша семья снова соберется вместе, как в былые времена. Она не знала, что муж ее умер в лагере еще в 1942 году. Я все еще держал это втайне от нее и от брата. У меня не хватало духа поделиться этим печальным известием, полученным во Фрунзе после многомесячных моих запросов в соответствующие инстанции. Я сам перед собой пытался оправдать мое малодушие тем, что, может быть, лучше, что они не знают об этом и что они живут в надежде...

Я не мог отказать моей матери, которая так намучилась в своей жизни, в ее надежде быть со мной. Я со своей стороны также стремился к тому, чтобы быть вместе с матерью, которую любил и жалел.

Я был бы неискренним, если бы выставлял себя неудачником. Слишком было много случаев, когда я чего-то хотел и добивался, в конце концов, своего. Но, как правило, все это мне давалось трудно и без борьбы мне ничего не удавалось. Благодарю бога хотя бы за это...

Новый ректор нашего института категорически отказался отпустить меня в Харьков, невзирая на то, что оттуда у меня был вызов, о котором позаботились мои харьковские друзья. Я не помню, что на меня тогда напало, в кабинете у ректора, но свойственный мне такт меня оставил, и я нагло требовал своего. Я ни за что оскорбил ректора, обвинив его во взяточничестве (ходили слухи, несомненно, ложные, что он продавал «вольные»). И он, безусловно, был прав, выставив меня за дверь. Мое положение окончательно усложнилось, и я полностью потерял какую-либо надежду вырваться из Киргизии. И снова Господь не оставил меня. Через неделю или через две наш ректор выехал в Москву в министерство. Вместо него остался заместитель — человек

более либеральный, и я решил снова попытаться. Мне повезло. Через два дня я со своим студенческим багажом уже сидел в поезде, который мчал меня в Москву.

Деньги на билет я выручил от продажи учебника по терапии, оценившегося тогда высоко. Забегая немного вперед, должен сказать, что фрунзенский ректор, узнав о том, что я его перехитрил, написал в Харьковский институт целую петицию на меня, но было слишком поздно — я уже был занесен в список студентов пятого курса. Кроме того, декан факультета хорошо меня знал еще с первого курса и очень тепло ко мне относился. Он меня немножко по-отечески пожурил, но по его глазам было видно, что он не очень меня осуждает за мою «проделку».

Послевоенный Харьков произвел на меня ужасающее впечатление. Центральная часть города была в сплошных руинах — разбитые стены с дырами вместо окон. От нашего дома на Пушкинской улице, где мы жили после 1937 года, не осталось и следа — в него попала бомба. Но по всему было видно, что город восстанавливается. На стройках работало много пленных немцев, тех самых немцев, которые так безжалостно расстреливали город, людей; тех самых немцев, которые задушили в газовых камерах миллионы людей, взрослых и детей; тех самых немцев, которые сделали несчастными полмира. Я вглядывался в их лица и хотел найти то звериное, то подлое в этих существах, что должно было быть их сутью, но напрасно. Люди как люди, чистые и сытые, без всяких признаков раскаяния. Боже! Откуда берется такое?!

Мать с братом в Харьков еще не прибыли; их эшелон где-то тащился в пути. Студенческое общежитие находилось далеко от города. Ходить вечером по неосвещенным улицам города было небезопасно из-за бандитских шаяк, орудовавших в городе. Поэтому я согласился поселиться временно на квартире своего товарища Сумбата, который пригласил меня к себе; мы с ним перед войной учились в одной группе и были близко знакомы. Это был красивый армянин с черными горящими глазами и доброй



душой. В силу различных причин Сумбат оставался в оккупированном Харькове и очень натерпелся вместе со своей большой семьей; долгое время он прятался от немцев в лесу. Его отец был пекарем, и за помощь советским военнопленным немцы его расстреляли. В гостеприимной армянской семье я почувствовал себя, как дома, но ненадолго: через две недели возвратилась с фронта невеста Сумбата, военный врач, и они вскоре поженились. Я вынужден был их оставить.

Долго подыскивать новое место мне не пришлось. К этому времени уже возвратились в Харьков из эвакуации близкие друзья нашей семьи Полина Борисовна с дочерью Мэри и внуком, которые благодаря своему родственнику в Москве, занимавшему ответственный пост в министерстве, заняли хорошую квартиру.

Узнав, что я в Харькове, Полина Борисовна предложила перейти к ней жить. Пожалуй, стоит рассказать об этой редкой семье. Полина Борисовна много лет перед войной работала медсестрой, и моя мать нередко к ней обращалась за помощью. Их знакомство переросло в тесную дружбу, несмотря на то, что Полина Борисовна была намного старше моей матери. Моя мать просто обожала свою подругу, и, действительно, это был необыкновенно милый человек, готовый отдать другому душу, не требуя взамен даже благодарности. Это была женщина, отдавшая лучшие свои годы революционному движению. Царские тюрьмы и ссылки не сломили ее дух и не притупили человеческую доброту. Семейная жизнь у нее не сложилась, и она осталась с дочерью, унаследовавшей ее красоту и доброту, а в эрудиции ее превзошедшей. Я был знаком с Полиной Борисовной еще с мальчишеских лет, когда с большим интересом слушал ее рассказы о конспиративной революционной деятельности в царской России, об известных революционерах, с которыми она была в ссылке.

Еще больше я с ней сблизился, когда поступил в институт. Мой первый медицинский халат — это был ее подарок. Из-за страшного шума трамваев за нашими окнами на Пушкинской улице мне

было очень трудно готовиться к экзаменам. Полина Борисовна, жившая недалеко от нас, уходя на работу, заносила мне ключ от своей квартиры, и я имел возможность сидеть с моими учебниками в ее спокойной чистой комнатке.

Ее дочь тогда была замужем и жила отдельно. Но недолго. Приехав после службы в рабочем батальоне во Фрунзе, я случайно узнал, что харьковский научный институт, в котором работала дочь Полины Борисовны, также находится во Фрунзе. Разумеется, я отправился разыскивать своих друзей. И я их нашел — далеко от города в каком-то учреждении, которое превратилось в общежитие для эвакуированных. На полу между многими друзьями я увидел Полину Борисовну с ее маленькой внучкой Зиночкой. Мой приход был для нее настолько неожиданным, что она долго на меня смотрела, пока не поняла, кто стоит перед ней... Положение моих друзей было совсем печальным. Мэри лежала в больнице с тифом. Она была одной из первых вдов. Ее муж, Саша, двадцатипятилетний кандидат наук, погиб на фронте в первые дни войны. Полина Борисовна еле держалась на ногах от голода — весь свой паек она отдавала дочери и внучке. Она уже распродала с себя всё, что удалось взять с собой в эвакуацию. Сам голодный, раздетый, я был не в состоянии помочь своим друзьям чем-либо существенным. Единственное, что я мог — это ходить на базар, чтобы купить что-нибудь, и почти ежедневно относить больной Мэри немного еды, что готовила ей мать. В свободное время я ходил гулять с Зиночкой, привязавшейся ко мне. Прошло немало времени, пока Полина Борисовна с ее дочерью немного пришли в себя.

Но у Полины Борисовны в ее харьковской квартире я также задержался ненадолго, хотя отношения между нами были самые лучшие. Через пару месяцев, уже готовясь к госэкзаменам, я по некоторым обстоятельствам съехал с ее квартиры. Моя мать с братом были тогда уже в Харькове, но жили в самых жутких условиях. Сначала в холодном еще не восстановленном

из руин цехе на велозаводе, затем в тесной комнатухе в общежитии вместе еще с двумя семьями. Но как говорится: не имей сто рублей... В Харьков возвратился демобилизованный из армии мой близкий школьный друг Арон Соловей — Арончик, как мы все его называли, младший брат погибшего на фронте Нохема Соловья, о котором я уже рассказывал на прошлых страницах.

Семья Соловей была одной из немногих чудесных семейств, которые мне пришлось встретить в своей жизни. Все они — отец и мать, две сестры и два брата не имели себе равных по своей доброте, простоте и человечности. Двери их дома всегда были открыты для всех, и все тянулись туда. Никто не уходил от них без доброго слова, одолженного рубля, без поделенного куска хлеба из их более чем скромного жилища. Как несправедливо и ужасно обошлась судьба с этими милыми людьми! В самые первые дни войны погиб на фронте в самом расцвете своей молодости и писательского таланта Нохем Соловей, через месяц — муж его сестры Беллы, оставив очаровательного грудного ребенка. Самая младшая сестра Зина, любимица Нохема, во время эвакуации неудачно вышла замуж за недостойного человека, намучилась с ним и пятью детьми и вскоре после войны умерла от рака.

Сам Арончик прошел войну с первого до последнего дня, через многие фронты, в танке был ранен, снова сел в танк... и вот возвратился домой героем. И ничего в нем не изменилось — такой же скромный, такая же добрая душа — Арончик. Наша встреча была примечательна: мы встретились на улице, остановились, обнялись, и во время нашей беседы вдруг рухнула разрушенная ранее снарядом стена четырехэтажного дома, возле которого мы стояли. Лишь чудом мы оба успели вовремя отскочить с тротуара, так что падающие кирпичи попали лишь на ноги...

Узнав, что я собираюсь перейти в общежитие за городом, Арончик даже не захотел об этом слышать и взял у меня слово, что

я перееду жить к нему. Это было как раз в то время, когда я готовился к госэкзаменам. Излишне рассказывать, как хорошо я себя чувствовал в доме, куда был вхож еще с детства, между людьми, перед благородством которых моя строгая мать преклонялась... В квартире было тесно и бедно. Спал я в одной кровати с Арончиком и к столу я садился вместе со всеми как родной.

Днем я сидел в городской библиотеке, потому что в моей новой квартире было шумно — целый день она была полна соседями, детьми, знакомыми. Лишь ночью, когда все уже спали, я садился при керосиновой лампе (электричества еще не было) и листал свои медицинские каноны. Я вспоминаю то время с особым чувством уважения и благодарности этим красивым людским душам, и меня охватывает боль за ту ужасную судьбу, которая выпала на их долю.

После Зины умер ее отец, Довид, после отца в свои сорок четыре года в госпитале во время операции умер мой дорогой друг Арончик — вечная память ему. Вскоре после него умерла его мать, простая, золотая еврейка. Из большой дружной семьи осталась одна лишь Белла.

Государственные экзамены я сдал на «отлично». И, несмотря на превратности судьбы, получил диплом врача. Теперь моя мама могла меня поздравить и гордиться, что ее сын, внук Гедальи-бедняка, первый из нашего большого рода получил высшее образование и диплом врача! Она была счастлива, но, как всегда, сдержана в выражении сильных эмоций. Она и теперь осталась верна себе: она меня обняла, поцеловала и шутливо произнесла: «Ну, дитя мое, слава богу! Ты уже разбираешься в болезнях».

После столь долгих мытарств, достигнув цели, я вдруг почувствовал опустошение, будто я исчерпал себя до самого дна, и во мне больше ничего не осталось. Как обладатель диплома с отличием, юридически я имел право выбирать место работы, включая право остаться в институте на кафедре. Но мне не хотелось оставаться в городе. Я вбил себе в голову поехать работать

в Молдавию. Я себе представлял Бессарабию цветущим сытым краем, где живут добрые люди, и где я, наконец-то, не должен буду думать о ежедневном куске хлеба — уж очень я изголодался в военные годы. Кроме того, мне захотелось испытать свои силы на самостоятельной работе.

## Молдавия

Но и здесь мне не изменила судьба: стоило мне захотеть поехать в Молдавию, как меня назначили на Западную Украину, в Дрогобычскую область. Но я не поддался и по протекции добился того, что мне положено было по закону. Деньги на расходы мне выдал институт, но как выглядит доктор без пары целых штанов и без пары приличных ботинок? Уже не говоря о костюме и приличном пальто. И хотя я никогда не обращал особого внимания на одежду, но как бродяга я поехать не мог — я уже не студент. Мои друзья из профкома института помогли мне, выдав талон на пару брюк и зимнее пальто. На одолженные деньги я купил одежду, а пальто прямо из магазина вынес на барахолку и перепродал за более высокую цену. На вырученные деньги я купил в комиссионном магазине поношенный черный костюм и трофейные ручные часы. Как можно себе представить доктора без часов? Пару туфель мне смастерил отец Арончика — опытный сапожник. Галстук и шляпу мне подарил мой брат из своего «гардероба». И вот — настоящий доктор! С головы до ног! Правда, мой друг писатель Гольдес, снабдив меня рекомендательным письмом, рассуждал, что не подобает врачу явиться на новое место старым холостяком (мне было уже за двадцать семь), и вместе со своей женой Фаней взяли на себя обязанность срочно меня сосватать. Но к их досаде я оказался не из покладистых женихов, и они разочаровались во мне...

В начале мая 1946 года я приехал в Кишинев. Город лежал в сплошных руинах, и было даже трудно себе представить, что на месте, где перед войной стоял цветущий город, как изображали бывшие его жители, лежат горы кирпича и стоят, как бы выстроившись в шеренги, разрушенные стены с зияющими, как открытые раны, окнами.

Во время войны и после нее я видел много разгромленных городов, станций, предприятий, и каждый раз не в состоянии был отделаться от мысли о том, как дико еще человечество, если такая цивилизованная нация, как немцы, может быть настолько варварской. В сравнении с ними наши предки были просто невинными дилетантами.

В Министерстве здравоохранения Молдавии работал один мой товарищ, Борис, из Фрунзе, окончивший институт двумя годами раньше меня, и я у него остановился на несколько дней. Борис мне посоветовал из всех мест, в которых мне предложили работать, выбрать Дрокийский район, Сорокского уезда, что недалеко от Бельц. Я послушался, собственно мне было все равно — Молдавия была для меня незнакомой страной и, кто знает, где мне будет лучше или хуже.

В Дрокию я прибыл ночью. Маленькая одноэтажная станция на пути из Кишинева в Черновцы была еле освещена одним единственным фонарем. Вокзал представлял собой комнату с цементным полом и с парой скамеек, за суфитом — закопченная керосиновая лампа. Как только поезд отошел, ко мне подошел дежурный и, поднеся к моему лицу свой фонарь «летучую мышь», с удивлением стал рассматривать единственного пассажира, который только что прибыл. Я пытался с ним поговорить, но безуспешно. Он дал мне понять, что не понимает по-русски, однако я почувствовал в его поведении враждебность к не прошенному гостю. Он исчез в двери своей дежурки, и мне ничего не оставалось, как прилечь на узкой, твердой скамье с узлом под головой и дожидаться утра.

О том, чтобы поспать, нечего было и думать. Во-первых, «постель», во-вторых, уж слишком много мыслей теснилось в мозгу. Тут, где я нахожусь сейчас, начинается новый этап в моей жизни, здесь я сделаю первые самостоятельные шаги врача. Что меня тут ожидает? Куда заведет меня этот путь? Во всяком случае, начало его в темной станционной комнате не воодушевляло. Мое настроение было далеко не приподнятое. Но я заметил, что темнота наводит тоску не только физическую, но и психическую. Что ночью рисуется в сплошных черных красках, исчезает с первыми солнечными лучами.

Дрокия меня обескуражила. Не такой я себе представлял бессарабскую деревню. В моей фантазии Молдавия светилась цветами ясной радуги. А тут — деревня, как деревня, с серыми деревянными и немногими кирпичными домиками. И, хотя уже середина мая, сады и деревья у дороги не красуются своими кронами. И... странная тишина.

Районный здравотдел находился недалеко от станции и вместе с амбулаторией занимал одноэтажный дом. В этом самом доме в задних комнатах жила хозяйка здравотдела вместе с единственной докторшей. В отдельной комнате жил фельдшер. Мой приезд медики встретили восторженно. Они не знали, куда меня посадить. Выяснилось, что самая большая деревня в районе Надушита осталась без врача. Местная жительница, врач Алла Ивановна, полностью деградировала от алкоголя и морфия и уже не в состоянии была работать. Так что я прибыл в самое подходящее время.

После вкусного завтрака мы вместе с заведующей здравотделом Шарاپовой на бричке, запряженной двумя слабыми конягами — единственном транспорте всей медицины района, поехали в Надушиту. Наш ездовой Василь, молодой, почти еще мальчик, молдаван в черной дырявой шляпе, погонял голодных лошадей, прикрикивая на них: «Но, Роза! Но, Монастырь!» Так странно их звали. Солнце заливало не по-майски жаркими лучами высохшие

поля. Молдавия уже второе послевоенное лето переживала тяжелую засуху. Растрескавшаяся, как от ран, земля, редко взошедшие колосья среди чертополоха жаждали дождя. Разрушенные войной деревни, неурожай, голод — такой передо мной предстала цветущая Молдавия. Говоря со мной об этом, моя спутница будто оправдывалась и сочувствовала мне, что я прибыл сюда в такое неудачное время.

Наши лошади из последних сил преодолели изрядно высокую горку, и передо мной открылся пейзаж большого села, расположенного, как в колыбели, между двумя горами. Это была Надушита. Опустевшие, притихшие улицы, бледные иссохшие лица ребятишек с большими голодными глазами за стеклами окон, частые столбы с крестами — это все производило тяжелое впечатление при въезде в село.

Наш «экипаж» остановился у ступенек деревенской амбулатории. «Вот это наше поместье», — сказала мне мой шеф. Нам навстречу вышел местный фельдшер, молодой здоровый молдаванин, не знавший ни слова по-русски, но Шаропова почти свободно говорила по-молдавски и представила меня ему. Амбулатория занимала несколько красивых просторных комнат. Раньше здесь жил зажиточный крестьянин, который после войны уехал к немцам. Комнаты были пусты, кроме столика и пары табуреток — почти ничего.

Мы вошли в боковую дверь — в нос ударил отвратительный запах человеческих экскрементов и алкоголя. Моим глазам открылась печальная картина: грязная, в полном беспорядке комната, в большой деревянной кровати — длинная, до костей исхудавшая женщина, смотрящая на нас равнодушными глазами с широко раскрытыми зрачками. Это была Алла Ивановна. Шаропова мне еще по дороге рассказывала, что когда-то она была женщиной редкой красоты. Во время войны, когда румыны оккупировали Бессарабию, Алла Ивановна пережила личную трагедию и очень скоро после этого начала скатываться в пропасть...



Еще нестарая женщина, на грязных подушках с распатланными волосами, она производила впечатление высохшей старухи. Шарапова ей сообщила, что я прибыл на работу на ее место, но Алла Ивановна лишь кивнула головой, что должно было означать, что ей все равно. На этом наша первая беседа закончилась.

Как хозяин поместья, я выбрал себе для жилья комнату по вкусу. Но, так как кроме четырех стен там ничего не было, я принял приглашение фельдшера поселиться у него. В моей памяти запечатлелся первый вечер в Надушите. После того, как моя начальница уехала в Дрокию, я себя почувствовал осиротевшим. Я не знал куда деться, и пошел шататься по улицам, знакомиться с местными достопримечательностями. Начало уже темнеть, когда до моего слуха донеслись звуки музыки, среди которых выделялся барабан. Я пошел в направлении звуков, и дорога привела меня к деревенской площади, где на самом видном месте стояло старое деревянное одноэтажное здание, похожее больше на огромный сарай, но флаг на крыше и вывеска над входом свидетельствовали, что это клуб. Я встал в стороне, наблюдая, как в широко раскрытые двери устремляются молдавские парни в помятых черных шляпах и девушки в разноцветных косынках на голове.

Я не выдержал, и вошел в клуб. Моим глазам открылась замечательная картина: молодые люди, между ними взрослые, все бледные, с черными горящими глазами, грязными босыми ногами с остервенением отбивали на качающихся досках пола такт молдаванески<sup>1</sup>. Оркестр, состоявший из скрипача, кларнетиста и барабанщика, разошелся во всю и своей игрой увлек в общем экстазе танцующих. Мне, ошеломленному, казалось, что это всё во сне: голодные, грязные юноши и девушки словно бросали вызов судьбе. Забыв все свои страдания, они ликовали здесь как победители... До сегодняшнего дня я не могу забыть эту картину. Когда танец закончился, все тяжело отдышались и вытерли

<sup>1</sup> Популярный молдавский народный танец.

лица, словно после изнурительной работы. Лишь теперь они обратили свои взоры в мою сторону и начали шушукаться. Я ушел из клуба в приподнятом настроении от только что увиденного. Я так явственно почувствовал силу жизни. В ту ночь я долго не мог заснуть.

В Надушите я задержался ненадолго. Через неделю или две меня перевели работать в Дрокию вместо местной докторши Александры Павловны, уехавшей в Одессу на курсы усовершенствования, и я остался единственным врачом в районном центре, представлявшем все отрасли медицины, начиная от терапии, педиатрии, дерматологии и кончая судебно-медицинской экспертизой.

Трудился я день и ночь без всякого графика. Довольно часто после тяжелого дня работы, лишь только приляжешь, стучат в окно: в соседнем селе нашли убитого, и я обязан вместе со следователем выехать туда. Утром меня уже ждала целая толпа больных в переполненном коридоре амбулатории. Кроме того, что мой опыт медика был ничтожен, я не знал ни слова по-молдавски и ориентировался при обследовании больных в основном по их жестам. Правда, мне помогал местный фельдшер Ефим Никифорович Колдаре, понимавший немного по-русски. Он помогал мне не только как переводчик, но нередко и в медицинских вопросах. Это был опытный фельдшер лет сорока, учившийся в Яссах. В то время как Ефим Никифорович служил в Советской армии, его жена и дочь в конце войны подались с отступающими румынами в Румынию, Таким образом, он остался без семьи. Хотя он был старше меня, мы с ним подружились. Он меня учил молдавскому языку, я его — русскому. Мы также с ним вместе гуляли, когда выдавалась свободная минута, и беседовали на разные темы. Кроме того, я учился у Ефима Никифоровича обращению с медицинской техникой, в которой он разбирался, я бы сказал, виртуозно. Со своей стороны я ему объяснял некоторые теоретические вопросы, к которым он проявлял большой

интерес. Ефим Никифорович пользовался у местного населения авторитетом профессора. Больные молдаване свято верили в магическую силу укулов, и в этом отношении Колдаре не имел себе равных. Подтянутый, в коричневом выутюженном костюме, с идеально чистым стоячим воротником, при галстукe, он гордо шагал по улицам райцентра, и каждый с почтением снимал перед ним шляпу.

Дрокия славилась болотами, которые появлялись после малейшего дождика. Мои ноги с характерным чмокающим звуком тонули в черной грязи и, пока я доходил из своего дома до амбулатории, я оказывался весь в грязи, заляпанный до самой шеи — стыдно было перед больными, ожидавшими меня. Ефим Никифорович при любых обстоятельствах на работу являлся в чистых калошах, словно он шел не пешком, а летел. Меня всегда удивляло, как ему это удается.

Первое время я ночевал на диване в амбулатории, но вскоре перебрался жить к хозяину района, председателю райисполкома Андрею Алексеевичу Самозванкину. Это был человек лет сорока, недавно демобилизованный из армии и еще не расставшийся с офицерским мундиром. В Дрокию он прибыл в одно время со мной, семью он пока оставил на Урале, и, как и я, вел холостяцкую жизнь. При посещении нашей амбулатории, узнав, что я без жилья, он пригласил меня к себе. Андрей Александрович занимал просторный одноэтажный дом из четырех комнат. Одну из них с окнами, выходящими в великолепный немного запущенный сад, он выделил мне. Эта комната была для меня оазисом во время моих немногих свободных часов, которые я проводил, сидя над медицинскими книгами или романами Толстого или Достоевского. Сад в серебристом свете полной луны наполнял мою душу сладкими мечтами и светлыми желаниями молодости. Меня радовало, что с каждым днем я приобретал все больше опыта в своей работе. Все явственней чувствовал, что моя помощь важна людям в их

страданиях, и с внутренним удовлетворением воспринимал благодарные взгляды моих пациентов. Трудно забыть один эпизод, когда бедный крестьянин, желая отблагодарить меня за помощь, вынул из-за пазухи початок кукурузы — все имущество голодного человека — и протянул его мне...

Нередко я оказывался в тупике при постановке диагноза, особенно у детей. Не с кем было посоветоваться, я был предоставлен сам себе. Помогала мне, должно быть, интуиция и моя беспокойная натура, благодаря которой каждый неясный случай заставлял меня до глубокой ночи рыться в моих талмудах... После каждого своего провала, который не минует молодого медика, я сильно переживал и разочаровывался в своих знаниях.

В конце лета вернулась с курсов Александра Павловна, и мне предстояло возвращение в Надушиту. Я начал было даже упаковывать свои пожитки с книгами, как для меня пришла путевка на курсы специализации по дерматовенерологии в Одессу.

1 сентября дрокийские медики, с которыми у меня установились теплые отношения, проводили меня на поезд «Черновцы — Кишинев». Настроение у меня было приподнятое. Во-первых, осуществилось мое желание специализироваться в дерматовенерологии, во-вторых, мне хотелось познакомиться с городом Менделе Мойхер-Сфорима, о котором я был много наслышан.

## Одесса. Свадьба

Когда поезд остановился на станции, и я уже простился со своими провожатыми, я вдруг увидел высокого худого парня с хорошо знакомым лицом. С котелком в руке он бежал к колонке с водой и натолкнулся прямо на меня. От неожиданности

и радости мы вскрикнули и обнялись. Это был мой институтский друг Жора Оснос, который со своим отцом-профессором и своей черновицкой невестой (Бетей ее звали) ехал из Черновцов в Одессу к матери. Узнав, что я также еду в Одессу, он пришел в восторг и буквально втащил меня к себе в купе.

В Одессе я остановился в общежитии на Молдаванке недалеко от Еврейской больницы. Учеба в клинике имени Главчеса увлекла меня. Старая профессура была французской школы, и наши лекции проходили на высоком уровне. Мои учителя профессора Фельдман, Феркель, Ландау, Литвал, Лейтес своей эрудицией и глубокими знаниями оставили след в моей профессии и душе на всю жизнь.

Вечера в Одессе я проводил со своими институтскими друзьями еще с Фрунзе, которых было здесь немало и которых я здесь очень скоро разыскал. Каждый из них хотел меня познакомить с девушкой, хотел меня сосватать. Это было вполне естественно: прибыл в Одессу молодой доктор, порядочный парень уже в годах (около 28 лет), просто грех не женить его. Правду говоря, мне самому уже надоела моя холостяцкая жизнь, но я был изрядно разборчив и, кого бы мне не сватали, а сватали меня почти каждый день, не сдавался — девушки мне не нравились. И не потому, что я был такой гордый, наоборот, по натуре я человек весьма скромный, но связать свою жизнь просто так, потому что, в конце концов, надо жениться, — это было не в моем характере. Так прошло почти два месяца, и мои друзья потеряли какую-либо надежду меня женить.

Но как говорят у евреев — бог сидит сверху...

20 октября 1946 года вечером я пошел к своему другу Жоре Осносу, с которым встретился на станции Дрокия и с которым вместе приехал в Одессу. Вместе с матерью Софией Григорьевной он жил в двух красивых комнатах на улице Островидова, 65, возле консерватории, но, так как ему не удалось устроиться в Одессе на работу, он собирался поехать в Черновцы к отцу,

заведовавшему кафедрой в медицинском институте. Я предложил Жоре пройтись по городу, но Жора сказал, что к нему сейчас должны зайти две знакомые девушки и попросил меня задержаться.

Не прошло и полчаса, как позвонили в дверь, и в комнату вошли с веселым заразительным смехом две молодые красивые девушки. Жора меня представил, затем поставил на стол патефон. Я никогда не был танцором, скорее всего из-за своей скромности, но когда по комнате поплыли звуки танго, неудобно было не пригласить к танцу девушек. Но перед этим мать Жоры, словно Брайнделе-козак<sup>1</sup>, совавшая свой нос повсюду, шепнула мне, чтобы я пригласил танцевать Тасю, не Нюсю. Я кивнул головой, будто я ее слушаюсь, но пригласил я... Нюсю. Она мне сильно понравилась с первого взгляда. Жора пошел танцевать с Тасей. София Григорьевна проводила меня сердитым взглядом, но я притворился, что ничего не замечаю.

К концу вечера, когда мы оделись, чтобы проводить наших гостей, она зазвала меня в другую комнату и стала мне выговаривать, за то, что я ее не послушался и ухаживал не за Тасей, а за Нюсей. Ее выговор меня позабавил, я решил играть свою роль до конца и, прикинувшись простачком, переспросил ее: «Я разве танцевал не с Тасей?» София Григорьевна не могла простить мне этот вечер. Как выяснилось, к этому времени расстроилось сватовство между ее сыном и его невестой из Черновцов Бетей. Теперь София Григорьевна была озабоченна новым сватовством. Нюся ей нравилась больше, чем Тася. Мне тоже... Очень скоро я должен был себе признаться, что я готов. Каждый вечер я проводил со своей избранницей, и это были одни из самых красивейших дней в моей жизни. Вскоре София Григорьевна уехала в Черновцы к мужу, и Жора меня сосватал, что меня побудило остаться

<sup>1</sup> Персонаж романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды».

в Одессе и жить у него. Это меня устраивало, поскольку мне не надо было каждую ночь после свидания возвращаться в общежитие на Молдаванке, которая была знаменита не только Одесским жаргоном и песенками...

Жора знал, что шестисот граммов хлеба и мизерного пайка, который я получал по карточкам, не может мне хватать, и он, будучи лучше меня обеспечен материально, с особым тактом, чтобы не затронуть мою гордость, учредил со мной общую коммуну. Моя избранница часто приходила к нам и, глядя, как два холостяка готовят на электроплитке борщ и жарят котлеты, держалась за бока от смеха, но при этом говорила, что таких вкусных блюд она еще никогда не ела.

Как сон пролетели эти счастливые месяцы в Одессе, и с грустью я начинал думать о возвращении в село в мою одинокую комнату. Но жизнь не спрашивает. Прощание с моей суженой было трогательным. Ночью в переполненном грязном вагоне я не прикрыл глаз: перед моим мысленным взором стояла озорная Нюся, и в ушах все звучал ее заразительный смех.

Дрокия меня встретила холодным дождем и грязью до колен. От станции до моей квартиры было не более двухсот метров, но пока я добрался туда с моим чемоданом, в легких туфлях, которые я время от времени терял в глубокой грязи, я увидел свою бабушку на том свете.

Моя комната, бывшая так любима мной, теперь предстала передо мной как одинокий заброшенный угол. В окно теперь смотрел запущенный сад с голыми деревьями и протянутыми к небу ветвями, словно они на что-то жаловались миру.

На работе меня ожидали невеселые новости: во время моего отсутствия посадили в тюрьму заведующую нашим райздравом. Вместе со своим любовником, нашим бухгалтером, они растратили сто тысяч рублей. Бухгалтеру удалось бежать, как говорят, в Румынию, а его любовница угодила в камеру. Узнав о моем возвращении из Одессы в Дрокию, из Сорók тотчас приехал

наш уездный шеф, доктор Белинский, который вызвал меня к себе, усадил и положил передо мной связку ключей — это ключи от здравотдела, возьмите их, кроме вас некому. Видя мое удивление и протест, Белинский меня успокоил и сказал, что это все временно, скоро он пришлет кого-то другого, чтобы заменить меня.

Я никогда, с самых юных лет не чувствовал склонности к административной работе, а сейчас особенно, после того, как я специализировался в дерматологии и хотел заняться поскорее своим делом. В Молдавии открылось тогда широкое поле деятельности для нашего брата. Но как я мог отказать симпатичному доктору Белинскому, обещавшему под честное слово, что через 2—3 месяца он меня кем-то заменит. Положение в районе было ужасным: три года подряд засуха. Голод безжалостно царил в молдавских домах, и каждый день уносил десятки людей. Медицинские учреждения не отапливались, медики уже три месяца были без зарплаты. Я не имел понятия, с чего начинать.

К этому времени пришла из центра директива срочно организовать в селах района питательные пункты и стационары для голодающих дистрофиков. Всю тяжесть этой работы возложили на медиков. Всю зиму, в морозы и метели, днем и ночью, носился я по молдавским деревням и часто, сам голодный, замерзший, помогал фельдшерам организовывать на местах стационары для дистрофиков и питательные пункты. Разъезжать по району в те времена было не так безопасно. По дорогам бродило немало шаек, встречи с которыми не обещали ничего радостного. Мне же пришлось встретиться в заснеженном поле с голодными волками. Чудом моему ездовому удалось избежать опасности. Но я, совсем не большой герой, тогда меньше всего об этом думал; все мои помыслы были направлены на то, как бы быстрее накормить голодных, исхудавших, кожа и кости, детей, не державшихся на ногах. По ночам я долго не мог уснуть, передо мной



возникали ужасающие образы голодающих, прошедшие днем перед глазами.

Немало мне приходилось вести борьбу с фельдшерами в деревнях, которые на своих пунктах питания воровали муку и выдавали несчастным больным хлеб, похожий на глину, смешанный черт знает с чем. При воспоминании обо всем этом меня и сейчас охватывает ужас. Единственным светлым лучом для меня в то время были письма в маленьких конвертах, которые ожидали меня дома. Это были письма из Одессы, написанные теплой девичьей рукой, и из этих писем я черпал мужество и надежду.

Время тянулось тяжело и мучительно; декабрь, январь, февраль, март... И никаких признаков замены. В конце января 1947 года мне пришлось поехать в Кишинев и выбивать рыбий жир и другие медикаменты для голодающих. От Кишинева до Одессы, как говорится, рукой подать. Как же я мог устоять и не съездить туда хоть на пару часов. И я отважился. После страшных молдавских картин теплая, натопленная комната показалась мне чудесным дворцом из сказки. И надо было так случиться, что в этот день в Одессе выпал невиданный доселе снег, парализовавший движение какого-либо транспорта; таким образом, я остался в плену у моей принцессы на целых три дня. Возвратился я в Дрокию уже будучи женихом.

В начале весны после моей «бомбардировки» Сорóк, доктор Белинский прислал мне замену в лице фельдшера Ефима Никифоровича Колдаре. Передав ему дела и ключи, я взялся за организацию районного венерологического пункта. Вскоре я уже располагал длинным списком больных и приступил к своей новой работе. Но мое положение усложнилось. Моя невеста заканчивала лишь третий курс мединститута, так что вопрос о нашей совместной жизни мог быть решен, только если бы я переехал в Одессу. Но кто же меня отпустит из Молдавии? Доктор Белинский мне сочувствовал. Он посоветовал, чтобы я нашел врача вместо себя. Это уже что-то значило.

В конце июня я приехал в отпуск в Одессу, где мы в доме невесты сыграли нашу свадьбу. Свадьба была веселой, с хупой<sup>1</sup>; тут было много родственников, друзей; приехали также моя мама и брат. На другой день вокруг стола собрались самые близкие, и моя мать рассказывала с большим мастерством свои народные сказки, которые очень понравились гостям. Я же, к моему стыду, с каждым в отдельности и со всеми вместе выпил столько, что опьянел — хорош жених, ничего не скажешь. Сразу же после свадьбы я увез свою молодую жену в Дрокию, где ей предстояло пройти первую практику после третьего курса. Перед моим отъездом из Одессы мне удалось найти доктора, имевшего желание поехать в Молдавию работать вместо меня. Это была моя знакомая по Фрунзенскому институту, а также подруга моей жены Лена Майданюк, окончившая только-только Одесский медицинский институт.

Наш медовый месяц в Дрокии, в моей скромной комнате, в открытые окна которой из сада тянулись кусты ароматных роз, был праздником молодости, который выпадает лишь раз в жизни. Мой выбор очень понравился моим коллегам в Дрокии, и после работы они частенько наведывались к нам в сад, где мы весело проводили летние вечера. К этому времени положение в Молдавии немного улучшилось, виды на урожай были неплохие, так что настроение у нас было приподнятое.

В конце августа, когда практика приблизилась к концу, пришла из Одессы Лена Майданюк. Мы вместе с ней отправились в Сороки. Доктор Белинский очень колебался. Вероятно, когда он пообещал отпустить меня с условием, что я найду себе замену, то был уверен, что это невозможно. Кроме того, он не осмеливался отпустить меня без разрешения Кишинева — из министерства. Но, наверное, в его мягком сердце одержало верх положение молодой пары — жаль их разлучать. Так или иначе, все решилось наилучшим образом. Последнюю ночь в Дрокии, когда

---

<sup>1</sup> Свадебный балдахин, необходимый атрибут традиционной церемонии бракосочетания у евреев.

наши вещи уже стояли упакованные, мы все втроем, я, моя жена и Лена, спали в одной кровати, что вызвало немало смеха. Но кульминация случилась среди ночи, посреди глубокого сна. Доски не выдержали, и кровать с треском, как при землетрясении, рассыпалась. Я полетел на пол, и на меня свалились две женщины. Это гротескное зрелище еще долго служило нам темой для смеха.

## Херсон

Одесса на этот раз приняла меня не особенно гостеприимно. Во-первых, мне отказано было в прописке, во-вторых, невозможно было устроиться на работу — много врачей тогда ходило без работы. И снова кочевать. На этот раз в Херсон, куда меня звал мой товарищ по Харьковскому институту, Самуил Уманский, работавший там. Но и в Херсоне нелегко было найти подходящую работу. Мое положение было отчаянным, когда я обратился к медицинскому ведомству водного транспорта. Тут согласились устроить меня на работу по моей специальности, но с условием, чтобы я согласился занять и место главврача бассейновой поликлиники. Как я говорил, к административной работе меня никогда не тянуло, но другого выхода у меня не было, и я дал согласие.

И вот я уже сижу в отдельном кабинете с телефоном, с сейфом, с ключами и с печатью. Большой коллектив коллег принял меня доброжелательно. Не знаю, что они во мне нашли, но я на каждом шагу по отношению к себе встречал неподдельное почтение. Возможно, играл роль мой возраст — 30 лет, как я не раз убеждался, возраст, импонирующий коллективу. Относясь всегда серьезно к своим служебным обязанностям, я также и тут быстро втянулся в работу — меня хвалили. Работа в дерматовенерологическом кабинете мне была по душе, так что я мог быть доволен моим

новым положением, если бы не разлука с моей женой в самые лучшие месяцы нашей семейной жизни.

Комнатку я снял у хозяев-евреев и понемногу привыкал к новым условиям. Время от времени при малейшей возможности, на корабле или на самолете, на праздник или на выходной, я наезжал в Одессу. На зимние и летние каникулы моя жена приезжала ко мне в Херсон, и каждая встреча вносила радость в нашу жизнь.

Не прошло и года, как в Херсон возвратился из эвакуации бывший главный врач нашей поликлиники. Для меня это был подарок всевышнего. Хотя все были довольны мной, недоволен был я сам. О карьере я не думал, кроме того, к работе главврача у меня вообще не лежала душа. Надо сказать, что мое начальство пошло навстречу моему желанию: меня дополнительно, кроме моей работы, определили дерматологом в амбулаторию Херсонского кораблестроительного завода, где перспектива получить квартиру была более реальна. Материальные условия там также были лучше.

Не будет хвастовством, если я скажу, что наша амбулатория за несколько месяцев работы вышла на 1-е место в системе Днепровского бассейна. Об этом было заявлено в Киеве на конференции, куда меня отправили делегатом коллеги из амбулатории. Рабочие, служащие и дирекция завода относились ко мне с уважением, и очень скоро мне выделили приличную комнату, около 30 метров, в самом центре города. Через несколько месяцев должно было закончиться строительство нового дома, где мне обещали самостоятельную квартиру из двух комнат. Материально мое положение также улучшилось. Мое киевское начальство разрешило мне персонально получать два оклада, в то время как больше полутора окладов никому не разрешали.

К этому времени моя жена, которая в Одессе во время сдачи го-сэкзаменов в институте подарила мне дочурку, переехала в Херсон, где она начала работать в нашей системе. Так что, казалось, все устроилось наилучшим образом, живи только и живи. Но

моя судьба всю жизнь следила, чтобы я не перебрал, и как только удавалось распрямить плечи, так я тотчас же получал по голове. Должен признаться, что всегда, даже до сегодняшнего дня, меня очень пугает, если у меня все хорошо. В таких случаях мной овладевает предчувствие, что вот ко мне приближается беда, и нередко это сбывается.

Итак, в один из осенних дней в конце ноября 1949 года меня вызвали в военный комиссариат на беседу. Напротив меня сидел солидный полковник Таврического военного округа. Листая бумаги в моем личном деле, он через толстые стекла своих мощных очков по-купечески рассматривал меня с видом, словно он собирался меня купить. Разумеется, он рылся в моей биографии, выпытывал у меня об отце, и, ничего не объясняя, отпустил меня на все четыре стороны. В этот же день приехала моя мама из Харькова, познакомиться со своей внучкой. Моя теща из Одессы тоже приехала. Но прежде всех меня «поздравил» военный комиссариат.

## Призыв. Дальний Восток

Утром я получил повестку, где было написано черным по белому, что в течение трех дней я обязан рассчитаться с работой и выехать на Дальний Восток в Уссурийск на военную службу. Если бы луна упала с неба на землю, это меня не так бы потрясло, как это распоряжение. Как это так! В годы войны мне, молодому, вполне здоровому парню, всучили в руки волчий билет, и, когда миллионы таких, как я, клали свои жизни в боях с фашистским зверьем, меня не трогали. А теперь, в мирное время, когда я только-только встал на ноги, когда я должен оставить мою жену с грудным ребенком, лишь теперь меня призывают на военную службу... Но Херсонский военный комиссар подтвердил, что это никакая не ошибка и... будь здоров!

Я не буду передавать подробности, что делалось дома. И хотя меня посылали не на фронт, у моих близких недостатка в слезах не было...

Через три дня я выехал из Херсона, отвез мать в Харьков, из Харькова я выехал в Москву, из Москвы экспрессом, в Уссурийск.

Когда я проезжал Биробиджан, у меня сжалось сердце. Перед моим взором пролетали дома, вокзал, улицы — кусок моей далекой юности, которая в этом городе так светло вошла и так печально закатилась.

Из военного округа Уссурийска меня отослали в воздушную армию. Тут я встретил много таких врачей, как я, ожидающих назначения в воинскую часть. В медицинском отделе штаба, просматривая мое личное дело, удивлялись, как это меня мобилизовали. В то время, хотя это не был 37-й год, я по своей биографии считался далеко не святым. Но так заведено: стоит одному дураку бросить камень в воду, и даже десять мудрецов не смогут его оттуда достать... Короче говоря, меня похлопали по плечу, и я надел на себя военную форму, и мне показалось, что вид у меня, как «ж... с четвертого этажа», как моя мамочка говаривала. Думаю, что бравый солдат Швейк легко мог бы дать мне фору.

Вот так начался новый этап моей жизни. Кто мог тогда подумать, что этот этап продлится целых двадцать лет...

Жизнь в армии на Дальнем Востоке, оторванном от большой земли и от культурных центров, давалась мне нелегко. Лично я привык к трудным условиям, и меня они не шокировали, но через полгода ко мне переехала моя жена с дочуркой, и теперь наш быт очень осложнился. Наша часть стояла в гарнизоне у самого летного поля. В одной квартире жили три семьи. Мы жили в комнате около десяти метров без всяких удобств. Наша казенная мебель состояла из солдатской койки, столика, пары табуреток и этажерки. Моего офицерского жалования едва хватало на самый скромный образ жизни. С целью экономии я питался

в солдатской столовой, где снимал пробы. К завтраку я вставал в пять часов утра. Таскать воду с далекой колонки, рубить дрова, таскать уголь, топить, закупать продукты — это все заполняло день после работы. Труднее доставалось моей жене, выросшей под крылышком отца и матери в оранжерейных условиях, но к ее чести, она понемногу привыкла к нелегкому быту и немало трудилась.

Меня очень огорчало, что мне пришлось служить общевойсковым врачом, а не по специальности. Я начал хлопотать, чтобы меня перевели в армейский госпиталь. Командование медицинского отдела воздушной армии ко мне отнеслось доброжелательно, и через год я уже возглавлял отделение дерматологии в военном госпитале в Хороле. Коллектив госпиталя был редкостным. Моим новым шефом был подполковник Евгений Феликсovich Биль — эрудит с энциклопедическими знаниями, мудрец с многосторонними интересами и способностями. Вскоре и моя жена начала работать в госпитале, где неожиданно для себя самой она занялась хирургией — другой должности не было — и с каждым днем она достигала новых вершин в этой области. Несмотря на все трудности, как в быту, так и в материальном отношении, в условиях, когда не на кого было оставлять детей, которые, без преувеличения, росли на руках больных солдат в госпитале, жизнь в Хороле в течение 8 лет протекала интересно между славными людьми и богатой содержанием работы. Если к этому добавить радость, которую нам дарили наши дорогие дети — каждый их новый шаг, каждое новое слово, каждая улыбка на их светлых личиках, так эти годы были самыми радостными в жизни нашей семьи.

На этом я мог бы закончить свои записи о моей жизни. Дальнейшие события, возможно, потому, что они немного ближе к сегодняшнему дню, уже теряют приятный вкус прошлого, уже не вызывают такой острый интерес.

Целых двадцать лет, отданных военной службе, начиная со старшего лейтенанта до подполковника, были насыщены переездами, встречами, переживаниями, подводными камнями, приливами и отливами, всем тем, что человек может встретить на своем нелегком жизненном пути. Возможно, со временем, если бог продлит мою жизнь, я еще вернусь к этим запискам. Возможно, со временем всплывут в памяти картины, утерянные из хронологической цепочки моей жизни, и, просясь на бумагу, смогут дополнить мои воспоминания.

Как говорит русская пословица: «Поживем — увидим...»

*1991 год, октябрь, г. Одесса*



## Указатель имен

**Адлер, Яков** (1855—1926). Актер театра Аврома Гольдфадена, родоначальник театральной династии Адлер.

**Айнгорн, Давид** (1886—1973). Еврейский поэт и публицист.

Альтман, Пейси (1905—1941). Писатель. Писал на языке идиш. Погиб в августе 1941 г., был политруком 2-й минометной роты.

**Аш, Шолем** (1880— 1957). Еврейский писатель и драматург. Писал на идише.

**Бергельсон, Довид** (1884—1952). Прозаик, драматург, публицист. В середине 1930-х гг. жил в Биробиджане. Сборник рассказов «Биробиджанцы» вышел в издательстве «Дер Эмес» в 1934 году. Арестован по Делу Еврейского антифашистского комитета, расстрелян 12 августа 1952 года. Реабилитирован.

**Боржес, Сальвадор** (Бецалел Бородинный) (1900—1974). Писатель. Эмигрировал в 1930 г. в Бразилию. Писал на идише и украинском языке под псевдонимом Сальвадор Боржес. Получил советское подданство, в 1935 г., приехал в Биробиджан, работал в редакции газеты «Биробиджанер штерн», заведовал отделом национальной литературы в областной библиотеке им. Шолом-Алейхема. В 1937—39 гг. сидел в тюрьме, впоследствии реабилитирован.

**Вассерман, Люба** [Любовь Шамовна] (1907—1975). Поэтесса. В 1925 г. эмигрировала в Палестину. В 1931 г. приехала в Советский Союз, в 1932 г. переселилась в Биробиджан. Работала в областной библиотеке им. Шолом-Алейхема, редактором художественного вещания на еврейском языке в областном радиокомитете и в газете «Биробиджанер штерн». 1949—1956 гг. провела в лагерях. В 1973 г. уехала в Кишинев. Реабилитирована.

**Вергелис, Арон** (1918—1999). Поэт, прозаик, драматург, публицист и литературный критик. С родителями в конце 1920-х гг. приехал в Биробиджан, учился в еврейской школе № 2, затем окончил Московский педагогический институт. В 1947—49 гг. возглавлял альманах «Геймланд», с 1961 г. был главным редактором журнала «Советиш Геймланд».

**Вайнгойз, Нотэ** [Вайнгуйз] (1912—1944). Прозаик, публицист. Поселился в Биробиджане, возглавлял радиокомитет ЕАО, писал публицистические статьи, был директором Биробиджанского государственного еврейского театра. В конце 1930-х гг. уехал в Минск. В 1944 г. погиб в минском гетто.

**Гейман, Борис** (1913—1994). Сотрудник редакции газеты «Биробиджанер штерн». Был арестован, впоследствии реабилитирован. Был заслуженным журналистом Латвии, главным редактором газеты «Вэфовец».

**Гильдин, Хаим** (1884—1944). Еврейский писатель, писал на идише, принимал участие в революционной деятельности.

**Гольденберг, Бузи** (1902—1954). Журналист. В середине 1930-х гг. приехал в Биробиджан, в 1936 г. работал редактором газеты «Биробиджанер Штерн». В 1938 г. был репрессирован, после освобождения воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

**Голбштейн, Мотл** (1918—1993). Поэт. Родился в семье земледельцев еврейской сельскохозяйственной колонии. После окончания школы учился в харьковском техникуме, стал журналистом.

**Гофштейн, Арл [Арон]** (?—?). Поэт. С 1937 г. жил в Биробиджане, работал редактором детского вещания и диктором в областном радиокомитете. Публиковался в журнале «Форпост». Погиб на фронте.

**Гофштейн, Довид** (1889—1952). Поэт. В 1934 г. приезжал в Биробиджан. Арестован по Делу Еврейского антифашистского комитета, расстрелян 12 августа 1952 года.

**Гринзайд, Ицик** (1905—1942). Писатель и журналист, писал на идише. Был ответственным редактором харьковских газет «Юнгвардии» и «Зай грейт». Погиб на фронте.

**Грувман, Мотл** (1916—1990). Поэт. В конце 1930-х гг. был призван в армию, участвовал в боях на Халхин-Голе.

**Добин, Гирш** (1905—2001). Прозаик. С 1932 жил в Биробиджане, работал в редакции газеты «Биробиджанер Штерн», радиокомитете. В 1938 был арестован по 58-й статье, части 1а и 11. Реабилитирован. В 1992 г. переехал в Израиль.

**Дер Нистер, [Пинхас Каганович]** (1884—1950). Писатель и поэт. Арестован по Делу Еврейского антифашистского комитета, расстрелян 12 августа 1952 года.

**Казакевич, Генех** (1883—1935). Литературный критик, публицист, редактор, работал в еврейских изданиях «Пламя», «Звезда», возглавлял еврейский отдел Всероссийского телеграфного агентства. В 1932 г. приехал в Биробиджан, был первым редактором газеты «Биробиджанер Штерн». Отец Э. Казакевича.

**Казакевич, Эммануил** (1913—1962). Писатель, поэт, переводчик, киносценарист. Прозу писал на русском языке, поэзию на идише. Сын публициста и редактора Генеха Казакевича.

**Каминска, Эстер рохл** [урожденная Халперн] (1870—1925). Актриса театра и кино.

**Кардонский, Рафаил** (1909—1980). Журналист. В 1938 г. был арестован как «социально опасный элемент». Реабилитирован.

**Квитко, Лейб** (1890—1952). Поэт, писал на идиш. В годы Великой Отечественной войны был членом Еврейского антифашистского комитета. В 1949 г. был арестован, в 1952 г. расстрелян. Реабилитирован.

**Клитеник, Самуил** (1904—1940). Литературный критик, публицист, заведующий отделом культуры в редакции газеты «Дер Эмес». Приехал в СССР из Польши в 1929 году. С 1936 г. жил в Биробиджане, редактор журнала «Форпост», председатель научной комиссии по изучению еврейской культуры при облисполкоме. В 1937 г. был репрессирован.

**Койфман, Генех** (1915—1942). поэт. Работал в редакции газеты «Биробиджанер штерн». Погиб на фронте.

**Котляр, Йосиф** (1908—1962). Еврейский поэт. Писал на идише. Окончил педагогический техникум, а затем еврейское отделение харьковского педагогического института. Работал в еврейских молодежных изданиях и в издательстве «Нацмениздат» в Харькове.

**Литваков, Мойше** (1880—1939). Литературный критик, публицист, общественный деятель. С 1921 г. редактор газеты «Дер Эмес». Был сотрудником Института еврейской культуры при Академии наук Украины, профессором еврейской литературы и истории еврейского отделения Московского пединститута. В 1937 г. был арестован и умер в тюрьме. Реабилитирован.

**Менделе, Мойхер-Сфорим** [Менделе Мохер-Сфарим псевдоним; настоящее имя Шалом Яков Бройде, по паспорту Абрамович Соломон Моисеевич] (ок. 1835—1917). Писатель, основоположник новой еврейской классической литературы. Писал на иврите и на идише.

**Миллер, Бузи** (1913—1988). Прозаик, поэт, драматург, журналист, литературный критик.

**Номберг, Херш Довид** (1876—1927), писатель, журналист и политический деятель.

**Олевский, Бузи** (1908—1941). Поэт, писатель. В начале 1930-х гг., окончил Московский педагогический институт, приехал в Биробиджан, работал в газете «Биробиджанер Штерн», позднее был ответственным секретарем журнала «Форпост».

**Перец, Ицхок Лейбуш** (ок. 1852—1915). Еврейский поэт, прозаик, драматург, один из основоположников новой литературы на языке идиш.

**Рабин, Йосиф** (1900—1987) Прозаик. В 1936—1938 гг. работал в редакции газеты «Биробиджанер Штерн». Возглавлял областную писательскую организацию, входил в редколлегию журнала «Форпост». В 1937 г. был арестован и до 1943 г. находился в лагере. Реабилитирован.

**Сегалович, Зусман** (1884—1949). Еврейский поэт и беллетрист. Писал на идише.

**Сегалович, Лев** (1916—2001). Советский боксёр наилегчайшей весовой категории, выступал на всесоюзном уровне в 1930—1940-х годах. Шестикратный чемпион СССР, призёр многих международных турниров и матчевых встреч. Заслуженный мастер спорта. Участник Великой Отечественной войны.

**Сито, Файвл** (1909—1945). Еврейский советский прозаик, поэт, драматург.

**Турков, Зигмант** [Шломо-Залман] (1896—1970). Актер и театральный деятель.

**Фефер, Ицик** (1900—1952). Поэт, публицист, член еврейского антифашистского комитета. Расстрелян 12 августа 1952 года. Реабилитирован.

**Фининберг, Эзра** (1899—1946). Поэт, писатель, переводчик, драматург. В 1938 г. был в Биробиджане. Занимался историей литературы и литературной критикой.

**Фридман, Нохэм** [псевдоним Н. Мирный] (1907—1976). Журналист, поэт, литературный критик. В 1928 г. прибыл на станцию Тихонькая с первыми эшелонами еврейских переселенцев. Работал в газете «Биробиджанер Штерн», областном радиокомитете, редактором газеты «Биробиджанская звезда». Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. репрессирован, впоследствии реабилитирован.

**Харик, Изи** (1898—1937). Еврейский поэт и общественный деятель, один из основателей советской еврейской литературы. Расстрелян в Минске 29 октября 1937 года вместе с другими представителями белорусской интеллигенции. Впоследствии реабилитирован.

**Хащеватский, Мойше** (1897—1943). Еврейский советский поэт, драматург, переводчик, литературный критик. Писал на идише.

**Шолом-Алейхем** [Шалом-Алейхем; псевдоним, настоящее имя Шалом Рабинович] (1859—1916). Еврейский писатель и поэт, классик литературы на идише. Писал также на иврите и на русском.

# Содержание

Предисловие . . . . .	3
Наш комод . . . . .	6
О моем деде . . . . .	12
Мама . . . . .	34
Отец . . . . .	47
Вода в часах . . . . .	55
Плоцк . . . . .	57
Мой детдом . . . . .	60
Двор . . . . .	63
Моя первая школа . . . . .	76
Театр . . . . .	81
Моя новая школа . . . . .	85
Техникум . . . . .	100
Биробиджан . . . . .	110
37-й. Прощанье с юностью . . . . .	127
Калининдорф . . . . .	134
Вечера с Бергельсоном . . . . .	155
Лейб Квитко . . . . .	163
Эвакуация . . . . .	168
Фрунзе . . . . .	195
Снова Харьков . . . . .	206
Молдавия . . . . .	213
Одесса. Свадьба . . . . .	220
Херсон . . . . .	227
Призыв. Дальний Восток . . . . .	229
Указатель имен . . . . .	233

Бранд Бениамин Вольфович  
**Из прошлого**

16+

Оформление обложки

*В.В. Горохов*

Компьютерная вёрстка

*В.В. Горохов*

Выпускающий редактор

*В.Л. Терёхин*

Корректор

*Т.В. Сидорова*

Подписано в печать ... .. 2019 г.

Формат 60x90/16. Печать офсетная.

Бумага офсетная. Печ. л. 15. Уч. изд. л. 11.

Тираж 100 экз. Заказ №



Издательство ИТРК

127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 2

8(495) 685-16-87, 8(915) 022-10-30,

info@itrk.org, <http://itrk.org>